

Клайв Стейплз Льюис

Любовь

Чедду Уолшу
Да не умрет любовь и не убьет
Дж. Донн

I. Введение

"Бог есть любовь", – говорит евангелист Иоанн. Когда я в первый раз пытался писать эту книгу, я думал, что слова эти указывают мне прямой и простой путь. Я смогу, думал я, показать, что любовь у людей заслуживает своего имени, если она похожа на Любовь, которая есть Бог. И я разграничил любовь-нужду и любовь-дар. Типичный пример любви-дара – любовь к своим детям человека, который работает ради них, не жалея сил, все отдает им и жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, кидающийся к матери.

Я и не сомневался в том, какая из них больше похожа на Бога. Его любовь – дар. Отец отдает себя Сыну, Сын – Отцу и миру и, наконец, дарует Отцу самый мир в Себе и через Себя.

Любовь-нужда ничуть на Бога не похожа. У Бога есть все, а наша любовь-нужда, по слову Платона, – дитя Бедности. Она совершенно верно отражает истинную нашу природу. Мы беззащитны от рождения. Как только мы поймем, что к чему, мы открываем одиночество. Другие люди нужны и чувствам нашим, и разуму; без них мы не узнаем ничего, даже самих себя.

Я предвкушал, как легко воздам хвалу любви-дару и сумею осудить любовь-нужду. Многое из того, о чем я собирался сказать, и сейчас кажется мне верным. Я и сейчас считаю, что нуждаться в чужой любви – более чем недостаточно. Но теперь я скажу за наставником моим Макдональдом, что и любовь-нужда – любовь. Всякий раз, как я пытался доказать мое прежнее мнение, я запутывался в противоречиях. На самом деле все оказалось сложнее, чем я думал.

Прежде всего, мы насилуем многие языки, включая наш собственный, когда отказываем любви-нужде в имени любви. Конечно, язык не назовешь непогрешимым водителем, но при всех своих недостатках он накопил немало мудрости и опыта. Если вы с ним не посчитаетесь, он рано или поздно отомстит вам. Лучше бы не подражать Шалтаю-Болтаю и не вкладывать в слова угод ного нам значения.

Кроме того, надо быть очень осторожным, называя любовь нужду "просто эгоизмом". "Просто" – опасное слово. Конечно, любовь-нужда, как и все наши чувства, может быть эгоистичной. Жадное и властное требование любви бывает ужасным. Но в обычной жизни никто не сочтет эгоистом ребенка, который ищет утешения у матери, не осудят и взрослого, который соскучился по своему другу. Во всяком случае, это еще не самый страшный эгоизм. Иногда

приходится подавлять нужду в другом человеке, но никогда ни в ком не нуждается только отпетый эгоист. Мы действительно нужны друг другу ("нехорошо быть человеку одному"), и в сознании это отражается как любовь-нужда. Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо, – плохой духовный симптом, как плохой симптом – отсутствие аппетита, поскольку человеку действительно нужно есть.

Но самое важное не это. Христианин согласится, что наше духовное здоровье прямо пропорционально нашей любви к Богу; а эта любовь по самой своей природе состоит целиком или почти целиком из любви-нужды. Понять это нетрудно, когда мы просим простить наши грехи или поддержать нас в испытаниях. Но мало-помалу понимаешь, что все в нас – одна сплошная нужда; все неполно, недостаточно, пусто, все взывает к Богу, Который только и может развязать связанное и связать развязанное. Я не утверждаю, что другой любви мы к Нему не способны испытывать. Высокие духом расскажут нам, как вышли за ее пределы. Однако они же первыми скажут, что ведомые им высоты перестанут быть истинно-благодатными, станут неоплатоническими, а там и бесовскими иллюзиями, как только ты сочтешь, что можешь жить ими и никакой нужды в Боге у тебя нет. "Высшее, – читаем мы в "Подражании Христу", – не стоит без низшего". Лишь очень смелое и глупое создание гордо скажет Творцу: "Я – не нищий. Я люблю Тебя без всякой корысти". Те, кто испытывал у. Богу любовь-дар, вслед за тем – нет, в то же время – били себя в грудь вместе с мытарем и взывали из своей немощи к единственному Дарующему. И Он не против. Он сам сказал: "Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные", а в Ветхом Завете – "Открой уста твои, и Я наполню их".10

Выходит, что любовь-нужда в самом сильном своем виде неотъемлема от высочайшего состояния духа. И тут получается совсем странно. Человек ближе всего к Богу, когда он, в определенном смысле, меньше всего на Бога похож. Разве похожи нужда и полнота, немощь и власть,

покаяние и праведность, крик о помощи и всемогущество? Когда я до этого додумался, я остановился; прежний мой план рухнул. И я стал думать дальше.

"Близость к Богу" бывает разная. Во-первых, это сходство с Богом. Господь, мне кажется, дал сходство с Собою всему тварному. Пространство и время отражают Его величие, всякая жизнь плодоносит, как Он; животная жизнь действует, как Он, человек разумен, как Он, ангелы бессмертны и обладают интуитивным ведением. В этом смысле и хорошие люди, и плохие, и простые ангелы, и падшие больше похожи на Бога, чем животные. Природа их "ближе" к Божественной природе. Но есть и другая близость – можно ближе подойти к Богу. В этом смысле мы близки к Богу, когда верен наш путь к единению с Ним и и блаженству в Нем. Эти виды близости к Богу совпадают не всегда.

Прибегнем к аналогии. Представим себе, что мы идем через гору к той деревне, где стоит наш дом. Мы взобрались на вершину и стоим прямо над деревней. Можно бросить в дом камень; но домой мы отсюда не попадем. Придется идти низом и сделать крюк в пять миль. Чистое расстояние между нами и домом станет поначалу больше. Зато мы сами будем ближе к тому, чтобы помыться и поесть.

Бог всемогущ и блажен. Он – Царь и Творец. Поэтому, в определенном смысле, сильный, счастливый, творческий и свободный человек похож на Бога. Но никто и не думает, что эти качества хоть как-то связаны со святостью. Никакие богатства не станут пропуском в Царство Небесное.

На вершине мы близко от деревни, но, сколько там ни сиди, мы не приблизимся к воде и пище. Так и близость к Богу по сходству ограничена, закончена, закрыта, как тупик. А близость другая открыта, она увеличивается. Дано нам сходство или не дано, примем мы его или не примем, благодатно оно или нет, "близость приближения" нам заповедана. Все тварное похоже на Бога без своего согласия, соработничать тут не нужно. Сынами Божьими становятся не

так. Сыновнее сходство не портретное и не зеркальное. С одной стороны, оно больше, ибо в нем есть единство нашей воли с волей Божьей, с другой – гораздо меньше. Лучший богослов, чем я, учит, что наше подражание Богу в этой жизни должно быть подражанием Христу. Образец наш – Иисус, не только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, и в толпе, среди настойчивых просьб и бурных споров, которые не давали Ему ни отдохнуть, ни уединиться. Именно эта жизнь, так странно непохожая на жизнь Божественную, не только похожа на нее – это она и есть, когда она здесь, на земле, в наших земных условиях.

Теперь объясню, почему я счел нужным различить эти два рода близости к Богу. Слова евангелиста уравновешивает в моем сознании фраза нынешнего автора (Дени де Ружмона): "Любовь перестает быть бесом только тогда, когда перестает быть богом". Скажем то же самое иначе: "...становится бесом, когда становится богом". Без этого противовеса текст из Послания можно понять неверно. Можно подумать, что любовь – Бог.

Надеюсь, каждый догадается, что имеет в виду Ружмон. Всякая человеческая любовь (чем она выше, тем сильнее) склонна брать на себя Божественные полномочия. Она говорит как власть имеющий. Она учит нас не считаться с ценой, требует полного повиновения и внушает, что любое действие, совершенное ради нее, законно и даже похвально. Про влюбленность это всем известно. Но так действуют и привязанность, и дружба, каждая – на свой лад. Обо всем этом я буду говорить позже.

Сейчас только скажу, что естественная любовь предъявляет эти кощунственные претензии не тогда, когда она мала и низка, а тогда, когда она, как говорили наши деды, "чиста и благородна". С влюбленностью и тут понятно. Жертвенная, романтическая влюбленность поистине кажется нам гласом Божьим. Простая похоть ни за что не покажется; Похоть портит человека во многих смыслах – но

не в этом: ее не станешь чтить, как не станешь чтить желание почесаться. Когда глупенькая мать балует ребенка (а на самом деле – себя), играет в живую куклу и быстро устает, действия ее вряд ли "станут богом". Глубокая, всепоглощающая, пожирающая обоих любовь женщины, которая в полном смысле слова "живет для своего ребенка", богом становится легко. И мне кажется, что патриотизм, подогретый пивом и духовым оркестром, принесет куда меньше вреда, чем "высокая любовь к отчизне". Собственно, его легко перешибить другим напитком и другой музыкой.

Чего же еще могли мы ждать? Любовь не сочтет себя богом, пока на Бога непохожа. Осторожность нужна и тут; любовь-дар действительно богоподобна, и чем она жертвенней, тем богоподобнее. Все, что говорят о ней поэты, – правда. Ее терпение, ее сила, ее блаженство, ее милость, ее желание, чтобы другому было хорошо, роднят ее с Божьей любовью. И все же это близость по сходству. А сходство дано нам; оно совсем не обязательно связано с тем трудным и медленным приближением к Нему, которое заповедано совершать нам самим, как бы много помощи нам ни оказывали. Любовь-дар прекрасна, потому ее и легко принять за Любовь. Тогда мы придадим ей безусловную, ничем не обусловленную ценность, на которую она права не имеет. Она станет богом, станет бесом – и разрушит нас, а заодно и себя. Все дело в том, что естественная любовь, став богом, не остается любовью. Ее называют так, но в самом деле – это усложненная ненависть.

Любовь-нужда может быть и назойливой, и жалкой, но богом она не станет. Слишком она мало на Бога похожа.

Из всего этого следует, что мы не должны ни творить из любви кумира, ни "разоблачать" любовь. Ошибка писателей прошлого века в том, что для них были кумирами влюбленность и родственная нежность. Браунинг, Кингсли или Патмор иногда пишут так, словно влюбленный – это святой. Прозаики противопоставляют "миру сему" не

Царство Небесное, а дом. Мы живем во времена, когда отшатнулись в другую сторону. Разоблачители любви признали сентиментальной чушью почти все, что говорили их отцы, и постоянно объясняют, какова истинная подоплека влюбленности. Не будем слушать ни тех, ни других. Высшее не стоит без низшего. Растению нужны и корни, и солнечный свет. Земля, из которой оно растет, чиста, если вы оставите ее в саду, а не потащите на письменный стол. Человеческая любовь может быть дивным подобием любви Божьей. Это много; но дальше идти нельзя. Близость по сходству может и помочь, и помешать приближению к Богу. Чаще всего, наверное, она просто с Ним не связана.

II. Любовь к тому, что ниже человека

В моем поколении детей еще поправляли, когда мы говорили, что "любим" ягоды; и многие гордятся, что в английском есть два глагола – "love" и "like", тогда как во французском один – "aimer". Французский не одинок. Да и у нас теперь все чаще говорят про все: "I love". Самые педантичные люди то и дело повторяют, что они любят какую-нибудь еду, игру или работу. И действительно, любовь к людям и любовь к тому, что ниже человека, трудно разделить четкой чертой. "Высшее не стоит без низшего", и мы начнем снизу.

Когда мы что-то любим, это значит, что мы получает от этого удовольствие. Давно известно, что удовольствия бывают двух видов: те, которые не будут удовольствиями, если их не предварит желание, и те, которые и так хороши. Пример первых – вода, если хочешь пить. Если пить не хочется, вряд ли кто-нибудь выпьет стакан воды, разве что по предписанию врача. Пример вторых – неожиданное благоухание; скажем, вы идете утром по дороге, и вдруг до вас донесся запах с поля или из сада. Вы ничего не ждали, не хотели – и удовольствие явилось, как дар. Для ясности я привожу очень простые примеры, в жизни бывает сложнее.

Если вам вместо воды дадут кофе или пива, к удовольствию первого рода прибавится второе. Кроме того, удовольствие второго рода может стать удовольствием первого. Для умеренного человека вино – как запах с поля. Для алкоголика, чей вкус и пищеварение давно разрушены, удовольствия вообще нет, есть только недолгое облегчение. Вино скорее даже противно ему, но оставаться трезвым – еще тяжелее. Однако при всех пересечениях и сложностях оба типа очерчены ясно. Назовем их "удовольствием-нуждой" и "удовольствием-оценкой".

Сходство между удовольствием-нуждой и любовью-нуждой видно сразу. Но, как помните, любовь-нужду я упорно защищал, так как именно ее многие любовью не считают. Здесь – наоборот: чаще выносят за скобки удовольствие второго рода. Удовольствие-нужда и естественно (а кто этого не похвалит!), и насущно, и не приведет к излишествам, а удовольствие-оценка- это роскошь, прихоть, путь к пороку. У стоиков вы найдете сколько угодно таких рассуждений. Не будем им поддаваться. Человеческий разум склонен заменять описание оценкой. Он хочет сравнивать не явления, а ценности; все мы читали критиков, которые не могут похвалить одного поэта, не принизив другого. Здесь это не нужно. Все гораздо сложнее – мы видели хотя бы, что наслаждение превращается в нужду именно тогда, когда изменяется к худшему.

Для нас разграничение это важно тем, что здесь, в сфере удовольствия, есть подобие любви к людям, о которой мы и будем в основном говорить.

Когда человек выпьет в жаркий день стакан воды, он скажет: "Да, мне хотелось пить". Пьяница, хлопнувший стаканчик, скажет: "Да, мне хотелось выпить!" Но тот, кто услышал утром запах цветов из сада, скажет скорее: "Как хорошо!", а нормальный, не склонный к питью человек скажет, отведав прославленного кларета: "Хорошее вино!"

Им хорошо сейчас, а тем, первым,- было плохо. Наслаждение – в настоящем времени, нужда – в прошедшем. И вот почему.

Шекспир показал нам снедающую похоть, цель которой "сверх разума желанна", но, как только дело сделано, "сверх разума гнусна". В самых невинных и насущных нуждах-удовольствиях есть хоть капелька этого. Даже если то, чего мы хотели, не гнусно нам – оно просто нам безразлично, его нет. Водопроводный кран и чашка, очень привлекательны, когда вы пришли, наработавшись, с лужайки; через полминуты они вам ни к чему. Запах еды различен до обеда и после. И – простите мне крайность примера – большая буква М на небольшой дверке вызывает восторг, но быстро утрачивает свою прелесть.

Удовольствие-оценка не таково. В нем есть признание непреходящей ценности. В нем есть отрешенность. Мы хотим не только ради себя, чтобы хорошее вино не испортилось. Даже если мы больны и пить никогда не сможем, нас пугает мысль о том, что вино прокиснет или попадется человеку, который не оценит его. То же самое с запахом из сада. Мы не просто наслаждаемся им – мы чувствуем, что он по праву это заслужил, и совесть укорит нас, если мы ему не порадуемся. Еще сильнее мы огорчимся, узнав, что сад, мимо которого мы когда-то ходили, сменился кинотеатром и гаражами.

С научной точки зрения оба рода удовольствий связаны с нашим организмом. Но в удовольствии-нужде эта относительность подчеркнута. К удовольствию-оценке мы ощущаем признательность, мы почитаем его. Мы спрашиваем: "Как это вы проходите мимо сада и ничего не чувствуете?" О нужде так не спросишь; хотелось человеку пить – выпил воды, не хотелось – не выпил, его дело.

Удовольствие-нужда похоже на любовь-нужду. Это понять нетрудно. Любовь-нужда длится не дольше самой нужды. К счастью, это не значит, что человек становится нам безразличен. Во-первых, нужда может повторяться, а во-

вторых, – и это важнее – может возникнуть другой род любви, оценочный. Охраняют любовь и нравственные начала – верность, признательность, почтение. Однако если любовь-нужда осталась без поддержки и без изменений, она исчезнет, лишь не станет надобности. Вот почему тысячи матерей не нажалуются на то, что дети их забыли, а тысячи покинутых возлюбленных никак не поверят, что "это может быть". Нужда-любовь к Богу кончиться не может. Бог нужен нам всегда – и в этом мире, и в том. Но мы способны решить, что Он нам больше не нужен, "в беде и бес монахом станет". Нет оснований считать лицемерной недолговечную набожность тех, кто кинулся к Богу на короткий срок опасности или болезни. Они просто честны. Было плохо – просили помощи. А что же ее так просить?

Удовольствие-оценка похоже на более сложное чувство, которое описать труднее.

Во-первых, тут совершенно невозможно провести черту между "плотским" и "духовным". Хороший знаток вин проявит, пробуя вино, и сосредоточенность, и способность к суждению, и дисциплинированное внимание; музыкант, слушающий музыку, наслаждается и физически. Нет границы между удовольствием, которое доставит запах, и удовольствием, которое доставляет красивый вид, или изображение этого вида, или даже описание.

Кроме того, как мы уже говорили, в этих удовольствиях есть отрешенность, незаинтересованность. Конечно, это возможно и в сфере удовольствия-нужды, но иначе: мы отрешаемся от них, жертвуем ими. Сейчас я говорю о другом. В самом примитивном удовольствии-оценке есть неэгоистичное начало – потому мы и радуемся, что сад или луг цветет по-прежнему, а леса в каких-нибудь чужих краях не вырублены. Мы просто любим все это; мы произносим на секунду, как Бог, что это "хорошо весьма".

И тут в игру вступает "высшее не стоит без низшего". Я чувствовал, что моя классификация неполна – есть не только

любовь-нужда и любовь-дар. Есть и третье, не менее важное; его-то и предвосхищает удовольствие-оценка. Все, о чем я только что говорил, можно испытывать и к людям. Когда так относятся к женщине, мы зовем это обожанием; когда так относятся к мужчине-восхищением и преданностью; к Богу-благоговением.

Любовь-нужда взывает из глубин нашей немощи, любовь-дар дает от полноты, а эта, третья любовь славит того, кого любит. По отношению к женщине это будет: "Не могу без тебя жить", "Я защищу тебя" и "Как ты прекрасна!" В этом третьем случае любящий ничего не хочет, он просто дивится чуду, даже если оно не для него, и скорее готов утратить возлюбленную, чем согласиться на то, чтобы она вообще не появлялась в его жизни.

На практике, слава Богу, все эти три вида соединяются в одном чувстве, поддерживая друг друга. Наверное, только любовь-нужда встречается в чистом виде, да и то на несколько секунд.

Теперь мы рассмотрим подробней два примера любви к тому, что не есть человек.

Для некоторых людей, особенно для англичан и русских, очень важно то, что мы зовем "любовью к природе". Это не просто любовь к красоте. Конечно, в природе много красивого – деревья, и цветы, и животные, но любящий природу восхиидается не частностями. Не ищет он и "видов", ландшафтов. Уордсворт, полномочный представитель таких людей, прямо писал, что от любителя ландшафтов, который "сравнивает с видом вид" и отвлекается "ничтожною игрой цветов и очертании", ускользает душа, дух времени года и самого "места. Конечно, Уордсворт прав. Именно поэтому художник-пейзажист мешает нам на прогулке еще больше, чем ботаник.

Тут важен "дух", важно "настроение". Любители природы хотят получить как можно полнее все, что бы

природа, так сказать, ни говорила здесь и сейчас. Явная красота, несомненная гармония одних сцен не дороже им, чем мрачность, ужас, уродство или скука других. Даже отсутствию свойств они рады, ведь это еще одно слово, произнесенное их любимицей. Они открыты чему угодно в любом пейзаже, в любом времени суток. Они хотят впитать это все, окраситься им насквозь.

В XIX в. это, как и многое другое, превознесли до небес, в XX в. – разоблачили. Нельзя не согласиться, что, когда Уордсворт начинает философствовать об этом в прозе, он говорит много глупостей. Глупо и никак не доказано, что цветы наслаждаются воздухом, еще глупее считать, что они способны к радости, но почему-то не способны к страданию. У природы не научишься нравственности.

А если и научишься, то не той, которую находил в ней Уордсворт. Проще увидеть в природе безжалостное соперничество. Многие в наши дни его и видят. Они любят природу за то, что она, по их мнению, взывает к "темным, кровавым богам"; их не отвращает, а пленяет, что похоть, голод и сила действуют здесь без стыда и жалости.

Вообще же, если вы возьмете природу в наставники, она научит вас тому, что вы решили усвоить, то есть ничему не научит. "Дух" или "душа" природы предложит вам что угодно – безмерное веселье, невыносимое величие, мрачное одиночество. На самом же деле природа говорит одно: "Слушай и смотри".

Призыв этот понимают неверно и строят на нем более чем шаткие теологии, пантеологии и антитеологии, но тут природа не виновата. Любящие природу, от Уордсворта до поборников "темных богов", берут у нее одно – язык образов. Я имею в виду не только образы зрительные; природа как нельзя лучше выражает и радость, и печаль, и невинность, и похоть, и жестокость, и жуть. Свои мысли об этих вещах удобно облекать в предложенные ею образы. А философии и

теологии можно учиться у всего на свете, даже у философов и теологов.

Когда я говорю "облекать", я совсем не имею в виду метафоры и тому подобное. Дело в другом: многие, в том числе и я, не учились у природы богословию. Природа не учила меня тому, что есть Всемогущий Бог и Слава Божья. Я поверил в это иначе. Но природа показала мне, что такое "слава", и я не знаю до сих пор, где бы еще я мог это увидеть. Я представлял бы себе "страх Божий" очень грубо и просто, если бы не испытал истинного страха в горах или в лесу.

Конечно, все это ничуть не доказывает истинности христианства. Христианин учится этому, а поборник темных богов – своему, другому. В том-то и дело. Природа не учит. Истинная философия может иногда использовать то, что дала природа; но урока философии природа не даст. Природа не подтвердит никаких философских выкладок; она поможет понять и показать, что они значат.

И не случайно. Красота тварного мира естественно дает нам, отражая, красоту нетварного.

Дает, но в определенной степени и не так просто и прямо, как нам поначалу кажется. Любители темных богов правы: кроме цветов, есть и глисты. Попытайтесь примирить эти факты или доказать, что примирять их не надо, и вы выйдете за пределы любви к природе, о которой мы сейчас толкуем, в метафизику, теодицею или что-нибудь еще. Ничего плохого тут нет; но это уже не любовь к природе. Не надо искать прямого пути от этой любви к познанию Бога. Тропинка начинает петлять почти сразу. Тайна и глубина заповедей Божьих уводит нас в густые заросли. Мы не пройдем их; а если и пройдем, то должны сперва вернуться из лесов и садов к письменному столу, к Библии, в церковь. Мы должны опуститься на колени, иначе любовь к природе станет обожествлением природы. А оно приведет нас в лучшем случае если не к темным богам, то ко многим глупостям.

Однако мы не должны уступать обличителям Уордсворта. Природа не может научить нас боговедению или освятить нас. Но, приближаясь к Богу, мы обязаны постоянно оглядываться на нее. Любовь к ней необходима и полезна, хотя бы для начала. Более того, сохранят ее лишь те, кто на ней не застрял. Иначе и быть не могло. Если она стала богом, она стала бесом, а бесы обещаний не держат. У тех, кто хочет жить этим чувством, оно умирает. Колридж перестал ощущать природу, и Уордсворт горевал о том, что красота ее ушла. Молитесь в утреннем саду, не глядя на росу и цветы, не слушая птиц, и всякий раз вас будет поражать свежесть и красота. Но если вы нарочно пойдете поражаться, через несколько лет вы ничего не будете чувствовать девять раз из десяти.

Возьмем теперь любовь к своей стране. Здесь и не нужно растолковывать фразу Ружмона: кто не знает в наш век, что любовь эта становится бесом, когда становится богом! Многие склонны думать, что она только бесом и бывает. Но тогда придется зачеркнуть по меньшей мере половину высокой поэзии и великих деяний. Плач Христа о Иерусалиме звенит любовью к своей стране.

Очертим поле действия. Мы не будем вдаваться здесь в тонкости международного права. Когда патриотизм становится бесом, он, естественно, плодит и множит зло. Ученые люди скажут нам, что всякое столкновение наций безнравственно. Этим мы заниматься не будем. Мы просто рассмотрим само чувство и попытаемся разграничить невинную его форму и бесовскую. Ведь, строго говоря, ни одна из них не воздействует прямо на международные дела. Делами этими правят не подданные, а правители. Я пишу для подданных, а им бесовский патриотизм поможет поступать плохо, здоровый патриотизм – помешает. Когда люди дурны, пропаганде легко раздуть бесовские страсти; когда добры и нормальны, они могут воспротивиться. Вот почему нам надо знать, правильно ли мы любим свою страну.

Амбивалентность патриотизма доказывается хотя бы тем, что его воспевали и Честертон, и Киплинг. Если бы он был единым, такие разные люди не могли бы любить его. На самом деле он ничуть не един, разновидностей у него много.

Первая из них – любовь к дому; к месту, где мы выросли, или к нескольким местам, где мы росли; к старым друзьям, знакомым лицам, знакомым видам, запахам и звукам. В самом широком смысле это будет любовь к Уэллсу, Шотландии, Англии. Только иностранцы и политики говорят о Великобритании. Когда Киплинг не любит "моей империи врагов", он просто фальшивит. Какая у него империя? С этой любовью к родным местам связана любовь к укладу жизни – к пиву, чаю, камину, безоружным полисменам, купе с отдельным входом и многим другим вещам, к местному говору и – реже – к родному языку. Честертон говорил, что мы не хотим жить под чужим владычеством, как не хотим, чтобы наш дом сгорел,- ведь мы и перечислить не в силах всего, чего мы лишимся.

Я просто не знаю, с какой точки зрения можно осудить это чувство. Семья – первая ступенька на пути, уводящем нас от эгоизма; такой патриотизм – ступенька следующая, и уводит он нас от эгоизма семьи. Конечно, это еще не милосердие; речь идет о ближних в географическом, а не в христианском смысле слова. Но не любящий земляка своего, которого видит, как полюбит человека вообще, которого не видит?1 Все естественные чувства, в их числе и это, могут воспрепятствовать духовной любви, но могут и стать ее предтечами, подготовить к ней, укрепить мышцы, которым Божья благодать даст потом лучшую, высшую работу; так девочка нянчит куклу, а женщина – ребенка. Возможно, нам придется пожертвовать этой любовью, вырвать свой глаз, но если у тебя нет глаза, его не вырвешь. Существо с каким-нибудь "светочувствительным пятном" просто не поймет слов Христа.

Такой патриотизм, конечно, ничуть не агрессивен. От хочет только, чтобы его не трогали. У всякого мало-мальски разумного, наделенного воображением человека он вызовет добрые чувства к чужеземцам. Могу ли я любить свой дом и не понять, что другие люди с таким же правом любят свой? Француз так же предан cafe complet, как мы – яичнице с ветчиной; что ж, дай ему Бог, пускай пьет кофе! Мы ничуть не хотим навязать ему наши вкусы. Родные места тем и хороши, что других таких нет.

Вторая разновидность патриотизма – особое отношение к прошлому своей страны. Я имею в виду прошлое, которое живет в народном сознании, великие деяния предков. Марафон, Ватерлоо. Прошлое это и налагает обязательства и как бы дает гарантию. Мы не вправе изменить высоким образцам; но мы ведь потомки тех, великих, и потому как-то получается, что мы и не можем образцам изменить.

Это чувство не так безопасно, как первое. Истинная история любой страны кишит постыднейшими фактами. Если мы сочтем, что великие деяния для нее типичны, мы ошибемся и станем легкой добычей для людей, которые любят открывать другим глаза. Когда мы узнаем об истории больше, патриотизм наш рухнет и сменится злым цинизмом или мы нарочно откажемся видеть правду. И все же, что ни говори, именно такой патриотизм помогает многим людям вести себя гораздо лучше в трудную минуту, чем они вели бы себя без него.

Мне кажется, образ прошлого может укрепить нас и при этом не обманывать. Опасен этот образ ровно в той мере, в какой он подменяет серьезное историческое исследование. Чтобы он не приносил вреда, его надо принимать как сказание. Я имею в виду не выдумку – многое действительно было; я хочу сказать, что подчеркивать надо саму повесть, образы, примеры. Школьник должен смутно ощущать, что он слушает или читает сагу. Лучше всего, чтобы это было и не в школе, не на уроках. Чем меньше мы смешиваем это с

наукой, тем меньше опасность, что он это примет за серьезный анализ или – упаси Господь!- за оправдание нашей политики. Если героическую легенду загримируют под учебник, мальчик волей-неволей привыкнет думать, что "мы" какие-то особенные. Не зная толком биологии, он может решить, что мы каким-то образом унаследовали героизм. А это приведет его к другой, много худшей разновидности патриотизма.

Третья разновидность патриотизма-уже не чувство, а вера; твердая, даже грубая вера в то, что твоя страна или твой народ действительно лучше всех. Как-то я сказал старому священнику, исповедовавшему такие взгляды: "Каждый народ считает, что мужчины у него – самые храбрые, женщины -самые красивые". А он совершенно серьезно ответил мне: "Да, но ведь в Англии так и есть!" Конечно, этот ответ не значит, что он мерзавец; он просто трогательный старый осел. Но некоторые ослы больно лягаются. В самой крайней, безумной форме такой патриотизм становится тем расизмом толпы, который одинаково противен и христианству, и науке.

Тут мы подходим к четвертой разновидности. Если наша нация настолько лучше всех, не обязана ли она всеми править? В XIX в. англичане очень остро ощущали этот долг, "бремя белых". Мы были не то добровольными стражниками, не то добровольными няньками. Не надо думать, что это – чистое лицемерие. Какое-то добро мы "диким" делали. Но мир тошнило от наших заверений, что мы только ради этого добра завели огромную империю. Когда есть это ощущение превосходства, вывести из него можно многое. Можно подчеркивать не долг, а право. Можно считать, что одни народы, совсем уж никуда не годные, необходимо уничтожить, а другие, чуть получше, обязаны служить избранному народу. Конечно, ощущение долга лучше, чем ощущение права. Но ни то, ни другое к добру не приведет. У обоих есть верный признак зла: они перестают быть смешными только тогда, когда станут

ужасными. Если бы на свете не было обмана индейцев, уничтожения тасманцев, газовых камер, апартеида, напыщенность такого патриотизма казалась бы грубым фарсом.

И вот мы подходим к той черте, за которой бесовский патриотизм, как ему и положено, сжирает сам себя. Честертон, говоря об этом, приводит две строки из Киплинга. По отношению к Киплингу это не совсем справедливо – тот знал любовь к дому, хотя и был бездомным. Но сами по себе эти строки действительно прекрасный пример: Вот они:

Была бы Англия слаба,

Я бросил бы ее.

Любовь так в жизни не скажет. Представьте себе мать, которая любит детей, пока они милы, мужа, который любит жену, пока она красива, жену, которая любит мужа, пока он богат и знаменит. Тот, кто любит свою страну, не разлюбит ее в беде и унижении, а пожалеет. Он может считать ее великой и славной, когда она жалка и несчастлива, – бывает такая простительная иллюзия. Но солдат у Киплинга любит ее за величие и славу, за какие-то заслуги, а не просто так. А что, если она потеряет славу и величие? Ответ несложен: он разлюбит ее, покинет тонущий корабль. Тот самый барабанный, трубный, хвастливый патриотизм ведет на дорогу предательства. С таким явлением мы столкнемся много раз. Когда естественная любовь становится беззаконной, она не только приносит вред – она перестает быть любовью.

Итак, у патриотизма много обличий. Те, кто хочет отбросить его целиком, не понимают, что встанет (собственно, уже встает) на его место. Еще долго – а может, и всегда – страны будут жить в опасности. Правители должны как-то готовить подданных к защите страны. Там, где разрушен патриотизм, придется выдавать любой международный конфликт за чисто этический, за борьбу

добра со злом. Это – шаг назад, а не вперед. Конечно, патриотизм не должен противостоять этике. Хорошему человеку нужно знать, что его страна защищает правое дело; но все же это дело его страны, а не правда вообще. Мне кажется, разница очень важна. Я не стану ханжой и лицемером, защищая свой дом от грабителя; но если я скажу, что избил вора исключительно правды ради, а дом тут ни при чем, ханжество мое невозможно будет вынести. Нельзя выдавать Англию за Дон Кихота. Нелепость порождает зло. Если дело нашей страны – дело Господне, врагов надо просто уничтожить. Да, нельзя выдавать мирские дела за служение Божьей воле.

Старый патриотизм тем и был хорош, что, вдохновляя людей на подвиг, знал свое место. Он знал, что он чувство, не более, и войны могли быть славными, не претендуя на звание Священных. Смерть героя не путали со смертью мученика. И потому чувство это, предельно серьезное в час беды, становилось в дни мира смешным, легким, как всякая счастливая любовь. Оно могло смеяться над самим собой. Старую патриотическую песню и не споешь, не подмигивая; новые – торжественны, как псалмы.

Понятно, что все это может относиться и не к стране, а к школе, к полку, к большой семье, к сословию. Может относиться к тому, что выше естественной любви: к Церкви, к одной конфессии, к монашескому ордену. Это страшно, и об этом надо бы написать другую книгу. Сейчас скажу, что Церковь, Небесное Сообщество, неизбежно оказывается и сообществом земным. Наша естественная и невинная привязанность к земному сообществу может счесть себя любовью к Сообществу Небесному и оправдать самые гнусные действия. Я не собираюсь писать об этом, но именно христианин должен написать, сколько неповторимо своего внесло христианство в сокровищницу жестокости и подлости. Мир не услышит нас, пока мы не откажемся всенародно от большой части нашего прошлого. С какой

стати ему слушать, когда мы именем Христа то и дело служили Молоху?21

Вы удивитесь, что я ничего не сказал о любви к животным. О ней я скажу в следующей главе. Личность животное или не личность, когда мы любим, оно представляется нам личностью. Поэтому к животным относится то, о чем мы будем сейчас говорить.

III. Привязанность

Я начну с самой смиренной и самой распространенной любви, меньше всего отличающей нас от животных. Предупреждаю сразу, что это не упрек. Наши человеческие черты не лучше и не хуже от того, что мы разделяем их с животными. Когда мы обзываем человека животным, мы не хотим сказать, что у него много таких черт – у всех их много; речь идет о том, что он проявил только эти свойства там, где нужны были чисто человеческие. Словом же "зверский" мы называем поступки, до которых никакому зверю не додуматься.

Итак, я буду говорить о самой, простой любви. Греки называли ее "storge"; я назову привязанностью. В моем греческом словаре "storge" определяется как "привязанность, главным образом – родителей к детям", но слово это означает и привязанность детей к родителям. Любовь между детьми и родителями – первоначальная, основная форма этой любви. Чтобы представить ее себе, вообразите мать с младенцем, кошку в полной котят корзине, писк, лепетанье, тесноту, теплый запах молока.

Образ этот хорош тем, что сразу вводит нас в центр парадокса. Дети любят мать любовью-нуждой, но и материнская любовь – нужда, мать в ней нуждается. Если она не родит, она умрет, если не покормит – заболеет. Ее любовь – нужда, но нуждается она в том, чтобы в ней нуждались. К этому мы еще вернемся.

И у животных, и у нас привязанность выходит далеко за пределы семьи. Тепло и уютно бывает не только с детьми и не только с родителями. Такая любовь – самая неприхотливая. Есть женщины, у которых и быть не может поклонников; есть мужчины, у которых и быть не может друзей. Но мало на свете людей, к которым никто не привязан. Привязанность не требует сходства. Я видел, как не только мать, но и братья любили полного идиота. Привязанность не знает различий пола, возраста, класса. Она связывает молодого ученого и старую няню, живущих в совершенно разных мирах. Более того, привязанность не признает границ биологического вида. Она связывает человека и животное, и двух разных животных, скажем, кошку и собаку, и даже (это видел Гилберт Уайт) курицу и лошадь.

Такую любовь хорошо и часто описывали. В "Тристраме Шен-ди" отец и дядя Тоби десяти минут не могут поговорить без спора; но они глубоко привязаны друг к другу. Вспомним Дон Кихота и Санчо Пансу, Пиквика и Уэллера, Дика и Маркизу. Быть может, автор о том и не думал, но четверка из "Ветра в ивах" – Крот, Крыс, Жаб и Барсук – показывает нам, какие разные создания может связать этот род любви.

У привязанности тоже есть условие: предмет ее должен быть "своим", хорошо или давно знакомым. Мы часто знаем, когда именно, какого числа влюбились или обрели друга. Вряд ли можно установить, когда мы привязались к кому-нибудь. Не случайно мы употребляем ласкательно слово "старый", французы- "vieux". Собака лает на незнакомца, не причинившего ей вреда, и радуется знакомому, который ни разу ее не приласкал. Ребенок любит угрюмого садовника и дичится ласковой гостьи. Но садовник непременно должен быть "старый" – ребенок и не вспомнит времен, когда его еще не было.

Я уже говорил, что привязанность смиренна. Она не превозносится. Мы гордимся влюбленностью или дружбой.

Привязанности мы нередко стыдимся. Как-то я рассказывал о том, как любят друг друга собака и кошка, а собеседник мой заметил: "Вряд ли собака признается в этом другим псам". У привязанности – простое, неприметное лицо; и те, кто ее вызывает, часто просты и неприметны. Наша любовь к ним не свидетельствует о нашем вкусе или уме. То, что я назвал любовью-оценкой, в привязанность не входит. Чаще всего мы начинаем различать достоинства в милых нам людях, когда их с нами нет. Пока они с нами, мы принимаем их как должное. Для влюбленности – это провал, а здесь ничему не мешает. Привязанность тиха, о ней и говорить неудобно. На своем месте она хороша, вытащить ее на свет опасно. Она облекает, пропитывает нашу жизнь. Она там, где шлепанцы, халат, привычные шутки, сонный кот, жужжание швейной машины, кукла на траве.

Внесу поправку. Все это так, если привязанность одна, если она ни с чем не смешана. Она и сама – любовь, но часто она входит в другой вид любви, пропитывает его, окрашивает, создает для него среду. Быть может, без нее та любовь и усохла бы. Когда друг становится "старым другом", все, что не имело к дружбе никакого отношения, обретает особую прелесть. Что же до влюбленности, она может просуществовать без привязанности очень недолго; если же протянет подольше – становится поистине мерзкой, слишком ангельской, или слишком животной, или тем и другим по очереди. Такая влюбленность не по мерке человеку, она и мала ему, и велика. Зато как хороши и дружба, и влюбленность, когда сами они затухают и привязанность дает нам свободу, известную лишь ей да одиночеству. Не надо говорить, не надо целоваться, ничего не надо, разве что помешать в камине.

Об этом слиянии, наложении родов любви свидетельствует то, что почти всегда и везде все они выражаются в поцелуе. Сейчас в Англии друзья не целуются, а вот влюбленные и те, кто привязан друг к другу, этот обычай хранят. Они так верно хранят его, что и не скажешь,

кто у кого это позаимствовал, да и вообще, есть ли тут заимствование. Конечно, поцелуй влюбленности – не тот, что поцелуй привязанности; но ведь влюбленные далеко не всегда целуются "страстно". Кроме того, оба рода любви, к удивлению наших современников, пользуются лепетом, детским говором. Свойственно это не только людям. Профессор Лоренц сообщает нам, что зов влюбленных галок "состоит в основном из звуков, которые издают обычно их дети". То же самое делаем и мы, делают и птицы. Нежность – все нежность, и язык самой первой нежности вспоминается, чтобы послужить второй.

Мы уже знаем, что оценка не играет в привязанности большой роли. Но очень часто благодаря привязанности оценка появляется там, где ей бы без этого вовек не появиться. Друзей и возлюбленных мы выбираем за что-то – за красоту, за доброту, за ум, за честность. Но красота должна быть особая, "наша", и ум особый, в нашем вкусе. Потому друзья и влюбленные чувствуют, что созданы друг для друга. Привязанность соединяет не созданных друг для друга, до умиления, до смеха непохожих людей. Сперва мы привязываемся к человеку просто потому, что он рядом; потом мы замечаем: "А в нем что-то есть!.." Значит это, что он нам нравится, хотя и не создан по нашему вкусу; а знаменует великое освобождение. Пускай нам кажется, что мы снизошли к нему, – на самом деле мы перешли границу. Мы вышли за пределы своих мерил, начали ценить добро как таковое, а не только нашу излюбленную его разновидность.

Кто-то сказал: "Кошек и собак надо воспитывать вместе, чтобы расширить их кругозор". Это и делает привязанность. Она самая широкая, самая демократическая любовь. Если у меня много друзей, это не значит, что я терпим и добр; я их выбрал, как выбрал книги своей библиотеки. Поистине любит чтение тот, кто порадуется грошовому выпуску на книжном развале. Поистине любит людей тот, кто привяжется к каждодневным спутникам. Я знаю по опыту, как привязанность учит нас сперва замечать, потом –

терпеть, потом – привечать и, наконец,- ценить тех, кто оказался рядом. Созданы они для нас? Слава Богу, нет! Они – это они и есть, чудовищные, нелепые, куда более ценные, чем казалось нам поначалу.

И тут мы подходим к опасной черте. Привязанность не превозносится, как и милосердие. Привязанность обращает наш взор к неприметным; Бог и Его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность непритязательна, привязанность отходчива: она долготерпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Значит, это и есть сама Любовь? Значит, правы викторианцы? Значит, другой любви и не нужно? Значит, домашнее тепло и есть христианская жизнь? Ответ несложен: "Нет".

Я говорю сейчас не о том, что викторианские писатели как будто и не читали текстов о ненависти к жене и матери или о врагах человека – домашних его. Конечно, все это-правда. Христианин не смеет забывать о соперничестве между всякой естественной любовью и любовью к Богу. Бог – величайший из соперников, предельный предмет человеческой ревности, та Красота, ужасная, как Горгона, которая в любой миг может украсть у меня сердце мужа или жены, дочери или сына (то есть нам кажется, что Он их крадет). Горечь неверия часто вызвана именно этим, хотя человек думает, что ему противны предрассудки или ханжество. Но об этом мы будем говорить позже. Сейчас речь идет о куда более земных вещах.

Сколько на свете счастливых семейств? Потому ли их мало, что родные не любят друг друга? Нет, не потому; семья бывает несчастлива при очень сильной любви, хуже того – из-за сильной любви. Почти все свойства привязанности – о двух концах. Они могут порождать и добро, и зло. Если дать им волю, ничего с ними не делать, они вконец разрушат нам жизнь. Мятежные противники семейных радостей сказали о них не все; но все, что они сказали, – правда.

Заметьте, как противны песни и стихи о семейных чувствах. Противны они тем, что фальшивы; а фальшивы потому, что выдают за гарантию счастья и даже добра то, что только при должном усердии может к ним привести. Если верить песням и стихам, делать ничего не надо. Пустите привязанность, как теплый душ, и больше вам думать не о чем.

Как мы видели, в привязанность входят и любовь-нужда, и любовь-дар. Начнем с нужды – с того, что мы нуждаемся в любви к нам.

Привязанность – самый неразумный вид любви. Привязаться можно к каждому. Поэтому каждый и ждет, что к нему привяжутся. М-р Понтифекс из "Пути всякой плоти" ужасается, что сын не любит его, и считает это противоестественным. Однако он и не спросит себя, сделал ли он хоть что-нибудь, заслуживающее сыновней любви. "Король Лир" начинается с того, что очень неприятный старик жить не может без привязанности своих дочерей. Я привожу пример из книг, потому что мы с вами живем в разных местах. Живи мы близко, я бы показал вам сколько угодно примеров. Причина ясна: мы знаем, что дружбу и влюбленность надо чем-то вызвать, как бы заслужить. Привязанность дается бесплатно, она "сама собой разумеется". Мы вправе ждать ее. А если не дождемся, решим, что наши близкие ведут себя противоестественно.

Конечно, это неправда. Мы млекопитающие, и потому инстинкт вкладывает в наших матерей какую-то к нам любовь. Мы создания общественные и потому живем в определенной среде, где при нормальном ходе вещей возникают привязанности. Если кто-то привязан к нам, это не значит, что мы достойны любви. Отсюда делают вывод: "Если мы и недостойны любви, к нам должен быть кто-нибудь привязан". Точно так же можно сказать: "Никто не заслужил благодати Божьей. Я ее не заслужил. Следовательно, Бог должен мне ее даровать". Ни там, ни

здесь и речи не может быть о правах. Никаких прав у нас нет, мы просто смеем надеяться на привязанность, если мы обычные люди. А если нет? Если нас невозможно вынести? Тогда "природа" станет работать против нас. При близком общении легко возникает и ненависть. Все будет похоже, и все наоборот. Тоже кажется, что мы всегда терпеть человека не могли. Тоже возникает слово "старый": "Его старые штуки!" – и даже "вечный": "А, вечно он!.."

Нельзя сказать, что Лир не знает привязанности. На любви-нужде он просто помешался. Если бы он по-своему не любил дочек, он бы не требовал от них любви. Самый невыносимый родитель (или ребенок) может испытывать эту хищную любовь. Добра она не приносит ни ему, ни другим. В такой семье просто жизни нет. Когда неприятный человек непрестанно требует любви, обижается, корит, кричит или тихо точит близких, они чувствуют себя виновными (чего он и хотел), а на самом деле ничего исправить не могут. Требующий любви рубит сук, на который и сесть не успел. Если в нас вдруг затеплится какая-нибудь нежность к нему, он тут же прибьет ее жадностью и жалобами. А доказывать свою любовь мы должны обычно, ругая его врагов. "Любил бы ты меня, ты бы понял, какой эгоист твой отец...", "...помог бы мне справиться с сестрой", "...не дал бы так со мной обращаться..."

И, хоть ты их убей, они не видят простого и прямого пути. Овидий считал, что любви не дождешься, если ты не "amabilis". Веселый старый срамник хотел сказать, что женщину не обольстишь, если ты не обольстителен. Но слова его можно прочитать иначе. Он умнее в своем роде, чем король Лир.

Удивительно не то, что недостойные никакой любви тщетно ее требуют, а то, что они требуют ее так часто. Кто не видел, как женщина тратит юность, зрелость и даже старость на ненасытную мать, слушается ее, угождает ей, а та, как истинный вампир, считает ее неласковой и

строптивой. Быть может, ее жертва и прекрасна (хотя я в этом не уверен), но в матери, как ни ищи, прекрасного не отыщешь.

Вот какие плоды может приносить то, что привязанность дается даром. Не лучше обстоит дело и с непринужденностью, которую она порождает.

Мы постоянно слышим о грубости нынешней молодежи. Я старый человек и должен бы встать на сторону старших, но меня куда чаще поражает грубость родителей. Кто из нас не мучился в гостях, когда мать или отец так обращались со взрослыми детьми, что человек чужой просто ушел бы и хлопнул дверью? Они категорически говорят о вещах, которые дети знают, а они – нет; они прерывают детей, когда им вздумается; высмеивают то, что детям дорого; пренебрежительно (если не злобно) отзываются об их друзьях. А потом удивляются: "И где их носит? Всюду им хорошо, лишь бы не дома!.."

Если вы спросите, почему родители так ведут себя, они ответят: "Где же побыть собой, как не дома? Не в гостях же мы! Все тут люди свои, какие могут быть обиды!"

И снова это очень близко к правде, и ничуть не верно. Привязанность – как старый домашний халат, который мы не наденем при чужих. Но одно дело – халат, другое – грязная до вони рубаха. Есть выходное платье, есть домашнее. Есть светская учтивость, есть и домашняя. Принцип у них один: "не предпочитай себя". Чем официальней среда, тем больше в ней закона, меньше благодати. Привязанность не отменяет вежливости, она порождает вежливость истинную, тонкую, глубокую. "На людях" мы обойдемся ритуалом. Дома нужна реальность, символически в нем воплощенная. Если ее нет, всех подомнет под себя самый эгоистичный член семьи.

Вы должны действительно не предпочитать себя; в гостях вы можете притворяться, что не предпочитаете. Отсюда и поговорка: "Поживем вместе – узнаем друг друга".

То, как человек ведет себя дома, показывает истинную цену (что за гнусное выражение!) его светских манер. Когда, придя из гостей, манеры оставляют в передней, это значит, что их и не было, им просто подражали.

"Мы можем сказать друг другу что угодно". Истина, стоящая за этими словами, означает вот что: привязанность в лучшем своем виде может не считаться со светскими условностями, потому что она и не захочет ранить, унизить или подчинить. Вы не скажете любимой жене: "Ну ты и свинья!" Вы скажете: "Помолчи, я читать хочу". Вы можете поддразнивать, подшучивать, разыгрывать. Вы все можете, если тон и время верны. Чем лучше и чище привязанность, тем точней она чувствует, когда ее слова не обидят. Но домашний хам имеет в виду совсем другое. Его привязанность – очень низкого пошиба, или ее вообще нет, а свободу он себе дает такую, на которую смеет претендовать и которой умеет пользоваться только самая высокая, самая лучшая привязанность. Он тешит свою злобу, себялюбие или просто глупость. А совесть его чиста: привязанность имеет право на свободу, он ведет себя как хочет, – значит, он выражает привязанность. Если вы хоть немного обидитесь, он будет оскорблен в лучших чувствах. Дело ясное: вы его не любите, вы его обидели, не поняли.

"А, вот что!-скажет он. – Так, так... Вежливость понадобилась... Я-то думал, мы люди свои... да что там, ладно!.. Будь по-твоему". И станет вести себя с обидной, подчеркнутой вежливостью. Вот разница между домом и "светом": дома светские манеры свидетельствуют как раз о невежливости. Домашняя учтивость совсем иная. Прекрасный ее пример вы найдете в "Тристраме Шенди". Дядя Тоби не вовремя заговорил о своей любимой фортификации. Отец не выдержал и прервал его. Потом он увидел его лицо; понял, как брат удивлен и обижен – не за себя, конечно, а за высокое искусство, – и тут же раскаялся. Он просит прощения, братья мирятся, и, чтобы показать, что

никакой досады нет, дядя Тоби возвращается к прерванному рассказу.

Мы еще не говорили о ревности. Надеюсь, вы не думаете, что ею страдают только влюбленные; а если думаете – посмотрите на детей, на слуг и на животных. В привязанности она очень сильна и вызвана тем, что этот вид любви не терпит перемены. Связано это и с тем, что для привязанности совершенно не важна "любовь-восхищение". Мы не хотим, чтобы привычный облик стал красивей, характер – лучше, разум – шире. Перемена – враг привязанности.

Скажем, брат и сестра или два брата растут вместе. Они читают одни и те же книжки, карабкаются на одно и то же дерево, вместе играют, вместе начинают и бросают собирать марки. И вдруг у одного из них появляется новая жизнь. Другой не входит в нее, он выброшен, отброшен. Ревность тут родится такая, что и в драме подобной не найдешь. Это еще не ревность к друзьям, это ревность к самому предмету увлечения – к музыке, к науке, к Богу. Она доходит до смешного. Обиженный называет "все это" глупостями, не верит обидчику, обвиняет его в позерстве, прячет книги, выключает радио, выбрасывает бабочек. Привязанность – самый инстинктивный, самый животный вид любви, и ревность ее – самая дикая.

Не только дети страдают этой ревностью. Посмотрите на неверующую семью, где кто-нибудь обратился, или на мещанскую семью, где кто-нибудь "пошел в образованные". Я думал, что это ненависть тьмы к свету, но ошибался. Верующая семья, где кто-то стал атеистом, ничуть не лучше. Это просто реакция на измену, даже вроде бы на кражу. Кто-то (или что-то) крадет у нас нашего мальчика (или девочку). Он был один из нас, стал одним из них. Да по какому праву?! Так хорошо жили, никому не мешали, а нас обидели...

Иногда такая ревность усложняется, удваивается. С одной стороны, конечно, "все это" – глупости. С другой – а

вдруг в этом что-то есть? Вдруг и правда чем-то хороши книги, музыка, христианство? Почему же мы этого не видели, а он увидел? Что он, лучше нас? Да он сопляк, мы же старше... И ревность возвращается на круги своя: умнее "нас" он быть не может, значит, все это глупости.

Родителям в таких случаях лучше, чем братьям или сестрам. Дети их прошлого не знают, и они всегда могут сказать: "У кого не было! Ничего, пройдет..." Возразить на это невозможно – речь идет о будущем, обидеться нельзя – тон очень мягкий, а слушать обидно. Иногда родители и впрямь верят себе. Более того, иногда так и выходит.

"Ты разобьешь сердце матери!" Это викторианское восклицание нередко оказывалось верным. Близким очень тяжело, когда кто-нибудь из семьи спустился ниже нравственной ее системы – играет, пьет, содержит певичку. К несчастью, так же тяжело, если он поднялся выше. Охранительное упорство привязанности – о двух концах. Здесь, на домашнем уровне, повторяется самоубийственная воспитательная система, которая не терпит мало-мальски самостоятельных и живых детей.

До сих пор мы говорили об отходах привязанности-нужды. У привязанности-дара-свои искажения.

Я вспоминаю миссис Скорби, умершую не так давно. Семья ее на удивление посвежела. Муж не глядит затравленно и даже иногда смеется. Младший сын оказался не таким уж мрачным. Старший, который только спал дома, теперь никуда не ходит и трудится в саду. Дочь, которую считали "болезненно-хрупкой", ездит верхом, танцует ночи напролет, а днем играет в теннис. Даже собака бегает по улице и знается с другими псами.

Миссис Скорби часто говорила, что живет для семьи. Она не лгала. Все у нас знали, что так оно и есть. "Вот это жена! – говорили люди. – Вот это мать!" Стирала она сама, и стирала плохо, но ни за что на свете не соглашалась отдать

белье в прачечную. Когда бы кто ни вернулся, его ждал горячий ужин, даже в середине лета. Муж и дети умоляли ее, плакали, заверяли, что больше любят холодное. Ночью она не ложилась, пока все не придут. В два ли часа утра, в четыре ли вы находили на кухне худую, изможденную женщину, с немым упреком глядевшую на вас. Конечно, члены ее семьи старались приходить пораньше. Она сама шила, по ее мнению, очень хорошо, и только отпетый мерзавец смог бы отказаться от ее изделий. (Священник рассказывал, что после ее смерти семья отдала "для бедных" больше вещей, чем весь приход, вместе взятый.) А как она заботилась о здоровье близких! Она несла одна бремя таинственной болезни, которой страдала дочь. Врач, старый ее друг, разговаривал только с ней, пациентка ничего о себе не знала. Зачем ей волноваться? Мать жалела и пестовала ее, готовила диетическую еду, варила кошмарные напитки, поднимающие тонус, подавала все в постель. Остановить ее никто не мог. Но родные, люди хорошие, не могли и лениться, пока она трудится. Они ей помогали – помогали ей делать для них то, что им не было нужно. Собаку она тоже изводила, но та, за отсутствием совести, все же вырывалась на помойку или к соседу-псу.

Священник говорит, что миссис Скорби обрела мир. Будем надеяться, что это правда. А вот семья ее несомненно мир обрела. Нетрудно понять, в чем здесь ошибка. Материнская любовь – прежде всего дар. Но дарует она, чтобы довести ребенка до той черты, после которой он в этом даре нуждаться не будет. Мы кормим детей, чтобы они со временем сами научились есть; мы учим их, чтобы они выучились, чему нужно. Эта любовь работает против себя самой. Цель наша – стать ненужными. "Я больше им не нужна" – награда для матери, признание хорошо выполненного дела. Но инстинкт по природе своей этому противится. Он тоже хочет ребенку добра, только – своего, от матери исходящего. Если не включится более высокая любовь, которая хочет любимому добра, откуда бы оно ни исходило, мать не сдается. Чаще всего так и бывает. Чтобы в

ней нуждались, мать выдумывает несуществующие нужды или отучает ребенка от самостоятельности. Совесть ее при этом чиста; она не без оснований думает, что любовь ее – дар, и выводит из этого, что эгоизма в ней нет.

Касается это, конечно, не только матерей. Любая привязанность-дар может к этому привести, например любовь опекуна к опекаемому. Эмма у Джейн Остен хочет счастья Гарриет Смит, но только такого, которое приготовила сама Эмма. Опасность эта очень сильна в моей профессии. Университетский преподаватель должен дать ученику столько, чтобы тот не нуждался в нем, более того, чтобы тот мог стать его соперником и критиком. Мы должны радоваться, когда это случится, как радуется учитель фехтования, когда ученик выбьет у него шпагу. Многие и радуются; но не все.

Я достаточно стар, чтобы помнить доктора Кварца. Ни в одном университете не было такого хорошего и усердного учителя. Он буквально отдавал себя ученикам, и они его любили, почитали. Когда он перестал заниматься с ними, они не оставили его, часто заходили к нему и долго с ним спорили. Но вот – через месяцы или через недели – наступил роковой вечер, когда им сказали, что доктора нет дома. Так его с тех пор и не было. Дело в том, что они посмели с ним не согласиться. Встретившись с той самой независимостью, которую он воспитывал, доктор Кварц ее не вынес. Вотан создал свободного Зигфрида, а увидев, что Зигфрид свободен, разгневался. Доктор Кварц был несчастным человеком.

Страшная нужда в том, чтобы в нас нуждались, находит выход в любви к животным. Фраза "Он (она) любит животных" не значит ничего. Любить животных можно по-разному. С одной стороны, домашнее животное – мост между нами и природой. Всем нам бывает грустно оттого, что мы, люди, одиноки в мире живого – почти утратили чутье, видим себя со стороны, вникаем в бесчисленные

сложности, не умеем жить в настоящем. Мы не можем и не должны уподобляться животным. Но мы можем быть с ними. Животное достаточно личностно, чтобы предлог "с" выступил во всей своей силе; и все же оно – небольшой комок биологических импульсов. Собака или кошка тремя лапами стоит в природе, одной – там, где мы. Животное – это посланец. Кто не хотел бы, как сказал Бозанкет",31 "направить посла ко двору великого Пана"? Человек с собакой или с котом затыкает дыру в мироздании. Но, с другой стороны, животное можно воспринять неправильно. Если вы хотите быть нужным, а семье удалось от вас увернуться, животное может заменить ее. Несчастное создание принесет вашим родным большую пользу, вроде громоотвода; вы будете так заняты тем, чтобы портить ему жизнь, что у вас не хватит времени портить жизнь им. Собака подойдет тут больше кошки. Говорят, лучше всего – обезьяны. Животному вашему, конечно, не посчастливилось. Но может быть, оно не сумеет понять, как вы ему навредили; а если и сумеет, вы о том не узнаете. Самый забитый человек нет-нет да взорвется и выскажет все как есть. На ваше счастье, животное лишено дара речи.

Те, кто говорит: "Чем больше я вижу людей, тем больше люблю животных",- те, для кого животное отдых от человеческого общества, должны подумать всерьез об истинных причинах своей мизантропии.

Мне скажут: "Ну конечно, все это бывает. Эгоисты и невротики исказят что угодно, даже любовь. Но зачем так много рассуждать о патологических случаях? В конце концов, людям приличным легко избежать таких ошибок". Мне кажется, это замечание нуждается в комментариях.

Во-первых, невротик. Не думаю, что описанные мною случаи относятся к патологии. Конечно, бывают и особенно болезненные их формы, которые просто невозможно вынести. Таких людей непременно надо лечить. Но все мы, честно взглянув на себя, признаемся, что не избежали

подобных искушений. Это не болезнь; а если болезнь, имя ей – первородный грех. Обычные люди, делая все это, не болеют, а грешат. Им нужен не врач, а духовник. Медицина старается вернуть нас в "нормальное" состояние. Себялюбие, властность, жалость к себе, неумение себя увидеть нельзя назвать ненормальными в том смысле, в каком мы так называем астигматизм или блуждающую почку. Разве нормален, разве обычен тот, у кого начисто нет этих черт? Он нормален, конечно, но в другом значении слова: преображен, равен Божьему замыслу. Мы знали только одного такого Человека. А Он ничуть не был похож на любезного психологам индивида, уравновешенного, приспособленного, удачно женатого, хорошо устроенного, умеющего со всеми ладить. Вряд ли очень хорошо вписан в мир Тот, Кому говорили: "Не бес ли в Тебе?", кого гнали и в конце концов прибили гвоздями к двум бревнам.

Во-вторых, сами вы, возразив мне, ответили себе. Привязанность дарует радость тогда и только тогда, когда ее испытывают "приличные люди". Другими словами, одной привязанности мало. Нужен ум; нужна справедливость; нужна милость. Словом, нужно быть хорошим-терпеливым, смиренным, кротким. В игру должна вступать любовь, которая выше привязанности. В том-то и дело. Если мы станем жить одной привязанностью, она принесет нам много зла.

Неужели мы действительно не понимаем, как много зла она приносит? Неужели миссис Скорби совсем не видела, как она мучает семью? Трудно в это поверить. Она знала, как не знать, что весь вечер испорчен, когда впереди – ее бесполезная забота и горький укор. Но перестать не могла, иначе ей пришлось бы узнать и то, чего она знать не хотела: она уже не нужна. Кроме того, у нее времени не хватало подумать, правильна ли ее любовь. Но и это не все, есть и более глубокие причины. Когда родные просили ее отдать белье в прачечную, она ужасалась их черствости и неблагодарности и тешила душу радостями досады. Если вы

скажете, что радости эти вам незнакомы, вы или лжец, или святой. Некоторые наслаждения ведомы лишь тем, кто ненавидит. В любви миссис Скорби немало ненависти. Латинский поэт сказал "odi et amo" о влюбленности, но относится это ко всем видам любви. В каждом из них таятся семена злобы. Если привязанность возьмет в свои руки всю душу, семена эти прорастут. Любовь станет богом; станет бесом.

IV. Дружба

Когда я говорю о привязанности или влюбленности, все меня понимают. Оба эти чувства воспеты и прославлены свыше всякой меры. Даже те, кто в них не верит, подчиняются традиции – иначе они бы не обличали их. Но мало кто помнит теперь, что и дружба – любовь. У Тристана и Изольды, Антония и Клеопатры, Ромео и Джульетты тысячи литературных соответствий; у Давида и Ионафана, Ореста и Пилада, Роланда и Оливье их нет. В старину дружбу считали самой полной и счастливой из человеческих связей. Нынешний мир ее лишен. Конечно, все согласятся, что кроме семьи мужчине нужны и друзья. Но самый тон покажет, что под этим словом подразумевают совсем не тех, о ком писали Цицерон и Аристотель. Дружба для нас – развлечение, почти ненужная роскошь. Как же мы до этого дошли?

Прежде всего, мы не ценим дружбы, потому что ее не видим. А не видим мы ее потому, что она из всех видов любви наименее естественная, в ней не участвует инстинкт, в ней очень мало или просто нет биологической необходимости. Она почти не связана с нервами, от нее не краснеют, не бледнеют, не лишаются чувств. Соединяет она личность с личностью; как только люди подружились, они выделились из стада. Без влюбленности никто бы из нас не родился, без привязанности – не вырос, без дружбы можно и вырасти, и прожить. Вид наш с биологической точки зрения в ней не нуждается. Общество ей даже враждебно. Заметьте,

как не любит ее начальство. Директору школы, командиру полка, капитану корабля становится не по себе, когда кого-нибудь из их подчиненных свяжет крепкая дружба.

Эта противоестественность дружбы объясняет, почему ее так любили в старину. Главной, самой глубокой мыслью античности и средневековья был уход от материального мира. Природу, чувство, тело считали опасными для духа, их боялись или гнушались ими. Привязанность и влюбленность слишком явно уподобляют нас животным. Когда вы испытываете их, у вас перехватывает дыхание или жжет в груди. Светлый, спокойный, разумный мир свободно избранной дружбы отдаляет нас от природы. Дружба – единственный вид любви, уподобляющий нас богам или ангелам.

Сентиментализм и романтизм восстановили в правах природу и чувства. Поклонники "темных богов" опустились еще ниже, и к дружбе они уже начисто неспособны. Все, что считалось доблестями дружбы, работает теперь против нее. Она не знает лепета, нежных подарков, слез умиления, любезных поборникам чувства. Она слишком светла и покойна для поклонников низких инстинктов. По сравнению с более природными видами любви она жидка, пресна, бесплотна, это какой-то вегетарианский суррогат.

Кроме того, многие сейчас ставят общественное выше личного. Дружба соединяет людей на высшем уровне их личностного развития. Она уводит их от общества, как одиночество, но в нее уходит не один человек, а по меньшей мере двое. Демократическому чувству она тоже противна, в ней есть избранничество. Словом, в наши дни главу о дружбе приходится начинать с ее оправдания.

Для начала коснемся весьма непростой темы. В наше время нельзя обойти вниманием теорию, считающую, что всякая дружба на самом деле – однополая влюбленность.

Здесь очень важны опасные слова "на самом деле". Если вы скажете, что всякая дружба осознанно гомосексуальна, все поймут, что это ложь. Если вы спрячетесь за вышеприведенными словами, получится, что друзья и сами ничего не знают об ее истинной сути. Это уже нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Само отсутствие свидетельств окажется свидетельством. Дыма нет – значит, огонь хорошо скрыли. Конечно; если огонь вообще есть. С таким же правом можно сказать: "Если бы в кресле лежала невидимая кошка, оно казалось бы пустым. Оно пустым кажется. Следовательно, в нем лежит невидимая кошка".

Логически опровергнуть веру в невидимых кошек нельзя, но она немало говорит нам о том, кто ее исповедует. Те, кто видит в дружбе лишь скрытую влюбленность, доказывают, что у них никогда не было друзей. Кроме них, все знают по опыту, что дружба и влюбленность совсем непохожи, хотя их можно испытывать к одному и тому же человеку. Влюбленные все время говорят о своей любви; друзья почти никогда не говорят о дружбе. Влюбленные смотрят друг на друга; друзья – на что-то третье, чем оба заняты. Наконец, влюбленность, пока она жива, связывает только двоих. Дружба двумя не ограничена, втроем дружить даже лучше, и вот почему.

Лэм говорит где-то, что, когда А умрет, В теряет не только самого А, но и "его долю С" и С – "его долю В". В каждом друге есть что-то такое, чему дает осуществляться лишь третий друг. Сам я недостаточно широк; моего света мало, чтобы заиграли все грани его души. Дружба почти не знает ревности. Двое друзей счастливы, что нашли третьего, трое – что нашли четвертого, если он действительно друг. Они рады ему, как рады пришельцу блаженные души у Данте. Конечно, похожих людей немного (не говоря уже о том, что на земле нет таких больших комнат), но в идеале дружба может соединять сколько угодно друзей. Этим она "близка по сходству" к раю, где каждый видит Бога по-своему и сообщает о том всем другим. Серафимы у Исайи

взывают друг к другу: "Свят, свят, свят!.." (Ис. 6:3). Дружба – умножение хлебов; чем больше съешь, тем больше останется.

Вот почему нынешняя теория не выдерживает никакой критики. Дружба и противоестественная влюбленность, конечно, соединялись, особенно в некоторых культурах, в определенное время. Но где это было, там было, как вообще бывает соединение дружбы с влюбленностью. Примысливать же это не нужно, нельзя. Слезы, объятия и поцелуи ни о чем подобном не свидетельствуют. Если мы будем их так воспринимать, получится очень уж нелепо. Подумать смешно, что Джонсон, обнимающий Босуэлла, – педераст. Если вы можете в это поверить, вы во что угодно поверите. Объяснить надо не то, что наши предки обнимались, а то, что мы теперь не обнимаемся. Мы, а не они нарушили традицию.

Я говорил, что без дружбы может выжить и человек, и общество. Но есть другое явление, обществу необходимое, и его часто путают с дружбой. Это еще не дружба, а как бы ее заготовка.

В первобытных сообществах охотники должны действовать вместе, а женщины должны рожать и воспитывать детей. Без этого племя погибнет. Задолго до начала истории мы, мужчины, собирались отдельно от женщин. Нам надо было потолковать о наших общих делах. Мы думали, как что сделать, мы обсуждали сделанное, высмеивали трусов, хвалили храбрецов. Нам очень нравилось быть вместе; мы, смельчаки, мы, охотники, знали то, чего женщины не знают, а шуток наших они и понять не могли. Вероятно, все это было связано с религией и ритуалом.

А что же делали в это время женщины? Не знаю. Откуда мне знать? Наверное, свои ритуалы были и у них. Когда земледелием ведали они, им тоже приходилось вместе толковать о деле. Мне кажется, мир их не был начисто

женским, с ними были дети, а может, и старики. Все это догадки. Я могу воссоздать предысторию дружбы только по мужской линии.

Этот прообраз дружбы я назову приятельством, хотя его много чаще дружбой и зовут. Говоря о своих друзьях, люди сплошь и рядом имеют в виду приятелей. Я ничуть не хочу умалить этот вид человеческой связи. Мы не умаляем серебро, отличая его от золота.

Дружба родится из приятельства, когда двое или трое заметят, что они что-то понимают одинаково. Раньше каждый из них думал, что только он это понял. Дружба начинается с вопроса: "Как, и ты это знаешь? А я думал, я один..." Можно представить себе, что среди первобытных охотников раз в сто лет или раз в тысячу какие-то люди открывали что-нибудь новое. Они видели вдруг, что олень не только съедобен, но и прекрасен; что охотиться весело, а не только нужно; что боги святы, а не только сильны. Но пока человек знал это один, он умирал, не породив ни искусства, ни спорта, ни духовной веры. Когда же двое находили друг друга и с превеликим трудом рассказывали о своих открытиях, рождалась дружба, а вместе с ней – искусство, спорт или вера. И тут же друзья оказывались в полном одиночестве.

Влюбленные ищут уединения. Друзьям его искать не надо, они и так отделены стеной от толпы. Они бы рады сломать эту стену, они рады найти третьего, но находят его не всегда.

В наше время дружба возникает так же. Конечно, в приятельстве нас объединяет не насущная для жизни охота, а университет, служба, клуб, полк. Все, кто окружает нас, – наши приятели. Те, кто разделяет с нами что-то свое, особенное, – наши друзья. Как говорил Эмерсон, в этом виде любви вопрос: "Ты меня любишь?" – значит: "Ты видишь ту же самую истину?" или хотя бы: "Важна тебе та же истина?" Человек, понимающий, как и мы, что какой-то вопрос важен,

может стать нам другом, даже если он иначе ответит на него. Вот почему трогательные люди, которые хотят "завести друзей", их никогда не заведут. Дружба возможна только тогда, когда нам что-то важнее дружбы. Если человек ответит на тот вопрос: "Да плевал я на истину! Мне друг нужен", он может добиться только привязанности. Здесь "не о чем дружить", а дружба всегда "о чем-то", хотя бы это было домино или интерес к белым мышам.

Если друзья, нашедшие друг друга, разного пола, к дружбе их очень быстро, иногда в первые же полчаса, присоединяется влюбленность. Вообще, если они не противны один другому физически или не любят уже кого-то, они непременно друг в друга влюбятся. И наоборот, влюбленные могут подружиться. Но и в том, и в другом случае это только четче очертит разные виды любви. Когда возлюбленная становится другом, мы никак не захотим разделить ее влюбленность с кем-то третьим, но дружбу ее разделить мы только рады. Влюбленный только рад, если его подруга способна в самом глубоком и истинном смысле войти в круг его друзей.

Сосуществование дружбы и влюбленности поможет вам понять, что и дружба – великая любовь. Представим себе, что мы женились на женщине, которая может стать нам настоящим другом. Теперь предположим, что нам сказали: "Влюбленность ваша исчезнет, но вы всегда будете вместе искать Бога, истину, красоту. Если же это вам не нравится, вы будете всегда влюблены друг в друга, но друзьями не станете. Или то, или это. Выбирайте". Что мы выберем? О каком выборе не пожалеем?

Я подчеркиваю, что дружба – не нужна; об этом надо поговорить подробней.

Мне скажут, что дружба очень нужна обществу. Великие религии начинались в узком кругу друзей. Математика возникла, когда несколько друзей в Греции стали беседовать о числах, линиях и углах. Наше

Королевское общество было маленькой группой джентльменов, собиравшихся в свободное время потолковать о никому, кроме них, не интересных вещах. Романтизм действительно был Уордсвортом и Колриджем, которые (особенно Колридж) без умолку говорили о своем, особом видении мира. Возрождение, Реформация, борьба против рабства, коммунизм, методизм начались, в сущности, так же.

Значит, дружба пользу приносит. Но почти каждый читатель что-то одобрит из моего списка, что-то осудит. В лучшем случае список этот показывает, что дружба может приносить обществу и пользу, и вред. Да и помогает она обществу не выжить, а "жить хорошо", как называл это Аристотель. Иногда эти виды пользы совпадают, но бывает это редко. Кроме того, дружба о пользе не думает, польза для нее – отход производства. Религии, которые по замыслу должны служить обществу, например почитание императора в Риме или нынешнее торговое христианство, ничего не дают. Несколько друзей, отвернувшихся от мира, преобразуют мир. Математика Египта и Вавилона служила обществу, земледелию, астрологии. Но для нас гораздо важнее математика греческая, которой занимались на досуге несколько друзей.

Многие скажут мне, что без дружбы не выжить человеку. Они имеют в виду не друга, а помощника, союзника. Конечно, друг, если нужно, даст нам денег, выходит нас во время болезни, защитит от врагов, поможет нашей вдове и детям. Но дружба не в этом. Это скорей помехи. В одном смысле эти дела очень важны, в другом – неважны. Они важны, ибо тот, кто их не сделает, окажется ложным другом. Они неважны, ибо роль благодетеля случайна в дружбе, даже чужда ей. Дружба совершенно свободна от "нужды, чтобы в тебе нуждались". Нам очень жаль, что представился случай оказать помощь, – ведь это значит, что друг был в беде, а теперь, ради Бога, забудем об этом и займемся чем-нибудь стоящим! Сама благодарность

не нужна дружбе. Привычная фраза: "Да о чем тут говорить!.." – выражает наши истинные чувства. Знак истинной дружбы не в том, что друг помогает, а в том, что от этого ничего не изменится. Помощь отвлекает, мешает, на нее уходит время, которого и так всегда не хватает друзьям. У нас всего два часа, а целых двадцать минут пришлось потратить на "дело"!

Дела друзей нас не интересуют. В отличие от влюбленности дружба не пытлива. Мы заводим друга, не зная, женат ли он и где он служит. Все это – пустяки перед главным: он видит ту же истину. Среди настоящих друзей человек представляет только себя самого. Никому не важны ни профессия его, ни семья, ни доход, ни национальность. Конечно, чаще всего это знают, но случайно. Друзья – как цари. Так встречаются властители независимых стран в какой-нибудь нейтральной стране. Дружба но природе своей не интересуется ни нашим телом, ни всем тем "расширенным телом", которое состоит из родных, прошлого, службы, связей. Вне дружеского круга мы не только Петр или Анна, но и муж или жена, брат или сестра, начальник, подчиненный, сослуживец. Среди друзей все иначе. Влюбленность обнажает тело, дружба – самую личность.

Этими обусловлена дивная безответственность дружеской любви. Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна, как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни; она – из тех вещей, без которых не нужна жизнь.

Я говорил, что в отличие от влюбленных друзья не смотрят друг на друга. Да, смотрят они на что-то третье, но это не значит, что они друг друга не видят и не любят. Дружба – та самая среда, где расцветают взаимная любовь и взаимное знание. Мы никого не знаем так хорошо, как друзей. Каждый шаг на совместном пути поверяет дружбу, и поверка эта нам понятна, она осознанна, мы в ней участвуем.

Наше почтение друг к другу преображается, когда придет час, в исключительно зрячую и крепкую любовь-восхищение. Если бы мы с самого начала больше глядели на человека, меньше – на предмет дружбы, мы бы не узнали так хорошо, не полюбили так глубоко того, с кем подружились. Мы не обретем поэта, мыслителя, воина, христианина, если будем любоваться им, как возлюбленной. Лучше читать вместе с ним, спорить с ним, сражаться, молиться.

Любовь-оценка в дружбе исключительно сильна. Среди настоящих друзей каждый нередко чувствует себя недостойным, удивляется, что он нужен, смиренно радуется, что его приняли. Поистине, прекрасны часы, когда четыре или пять человек пришли под вечер в свой кабачок или сидят дома, у огня. Вино – под рукой, все открыто уму, обязанностей нет, все равны и свободны, словно сегодня познакомились, хотя, быть может, многолетняя привязанность, кроме дружбы, соединяет нас. У земной жизни нет лучшего дара. Кто заслужил его?

Из всего, о чем мы говорили, ясно, что во многих обществах, во многие эпохи мужчины дружили с мужчинами, женщины – с женщинами. У них не было общего дела, без которого нет приятельства, порождающего дружбу. Многие мужчины работали, а женщины – нет; иногда они выполняли разную работу. Но, конечно, там, где у них работа общая, они легко вступают в дружбу – скажем, среди преподавателей, среди писателей, среди актеров. Правда, кто-то из друзей может принять эту дружбу за влюбленность, а тогда бывает очень тяжело. Могут друзья и действительно влюбиться друг в друга, один вид любви превратится в другой. Но это, повторяю, разные виды любви, иначе мы не употребили бы здесь слов "принять" и "превратиться".

Нашему обществу не повезло. Мир, где мужчины и женщины общим делом не связаны, живет неплохо: мужчины, дружат друг с другом и очень этому рады, а

женщины рады своим, женским дружбам. Мир, где у мужчин и женщин – общее дело, тоже хорошо живет. Но мы сидим между двух стульев. Считается, что дело это есть, а оно есть не везде. Например, в фешенебельных предместьях его ни в коей мере нет. Мужчины "делают деньги", а женщины на досуге предаются "жизни духа"; или, наоборот, мужчины занимаются наукой, правом, искусством, а женщины – как дети среди взрослых. Ни там, ни там дружбы не получится. В этом ничего страшного не было бы, если бы это поняли и приняли. Но в наши дни все наслышаны о разнополой дружбе и от других отстать не хотят. Вот и выходит, что изысканная жена, словно гувернантка, вечно воспитывает мужа. Она таскает его на концерты и приглашает "умных людей". Чаще всего это приносит удивительно мало вреда. У мужчины средних лет – огромный запас сопротивляемости и (знали бы это женщины!) снисходительной терпимости: "А, все они чудят!.." Гораздо хуже, когда мужчины культурнее женщин, а женщины ни за что не хотят этого признать.

Получается нечто жалкое, фальшивое и трудоемкое. Все делают вид, что женщины действительно на равных с друзьями-мужчинами. Теперь женщины курят и пьют (что само по себе не очень важно), и простым душам кажется, что они уже совсем как мужчины. Бедным мужчинам не дают собраться одним. Мужчины умеют жить чистой мыслью. Они знают, что такое спор, пример, доказательство. Женщина, с грехом пополам окончившая школу и сразу все забывшая, женщина, читающая только журналы мод и умеющая не беседовать, а рассказывать, в круг мыслящих мужчин войти не может. Конечно, она может сидеть в той же комнате. Если мужчины забудут о ней, захваченные спором, она промолчит и промается весь вечер, слушая бессмысленные для нее фразы. Если мужчины достаточно учтивы, они попытаются втянуть ее в разговор. Они станут разжевывать все для нее, привнесут какой-то смысл в ее жалкие реплики. Вскоре все выбьются из сил, и вместо доброго спора получится смесь сплетен, шуток и анекдотов. Научившись пить, курить и ругаться, женщина приблизилась

к мужчинам не больше, чем ее бабушка. Просто бабушка была умней и счастливей – она по-женски беседовала дома с подругами и, наверное, блистала при этом очарованием, остроумием и здравомыслием. Внучка могла бы с успехом делать то же самое. Она ничуть не глупее мужчин, которым она испортила вечер. Ей просто неинтересно то, что их занимает; а все мы тупеем, когда пытаемся судить о безразличных для нас вещах.

Навредили такие женщины очень сильно. Отчасти из-за них и увядает мужская дружба и даже мужское приятельство. Чаще всего вредят они бессознательно. Однако есть и особенно воинственные дамы, которые к этому стремятся. Я слышал, как одна из них говорила: "Никогда не давайте мужчинам заговорить друг с другом. Они начнут что-нибудь обсуждать, и будет очень скучно". Видите, как просто? Болтать можно, а обсуждать "что-нибудь" нельзя.

Осознанное наступление на дружбу ведется и на более высоком уровне: есть женщины, которые относятся к ней со злобой, завистью и страхом. Они считают ее заклятой врагиней любви, под которой чаще понимают привязанность, чем влюбленность. Такая женщина перессорит мужа с друзьями или, еще лучше, с их женами. Она будет лгать, клеветать, не догадываясь о том, что после такой обработки муж ее заметно упадет в цене. Когда она заметит, что он уже, в сущности, не мужчина, она сама начнет его стыдиться. Кроме того, она забывает, что он большую часть времени проводит там, где за ним не присмотришь. Возникнут новые дружбы, тайные. Ее счастье, если не появятся и другие тайны, уже не связанные с мужскими беседами.

Все это, конечно, женщины глупые. Умные уйдут в другой угол, чтобы говорить о своем и смеяться над нами. Это хорошо. Там, где мужчин и женщин соединяет не общее дело, а привязанность и влюбленность, они должны остро

ощущать нелепость другого пола. Да это и вообще полезно. Другой пол (как и детей, и животных) не оценишь толком, не смеясь над ним. Мы, люди, трагикомичны; разделение на два пола помогает мужчинам увидеть в женщинах, женщинам – в мужчинах то, чего они не видят в себе самих: как нелепы они и как достойны жалости.

Итак, дружба чиста, свободна, не ищет своего, радуется истине. Она – чисто духовна. Наверное, именно такой любовью любят друг друга ангелы. Быть может, среди естественных видов любви мы нашли Любовь?

Прежде чем делать такие выводы, присмотримся к слову "духовный". В Новом завете это слово много раз означает "причастный Святому Духу", и, конечно, в этих случаях ничего плохого в нем нет. Но когда понятие это противопоставляется "телесному" или "животному", дело обстоит иначе. Есть духовное благо, есть духовное зло. Есть святые, есть и падшие ангелы. Худшие наши грехи – духовные. Дружба духовна; но нельзя забывать о трех обстоятельствах.

Во-первых, как мы уже говорили, начальство дружбы боится. Быть может, это несправедливо; быть может, есть к тому и поводы.

Во-вторых, почти каждый дружеский круг не вызывает особого восхищения; в лучшем случае его окрестят кружком, в худшем – шайкой, кликой, камарильей. Те, кто знает по опыту только привязанность, приятельство и влюбленность, подозревают членов такого кружка в зазнайстве. Конечно, это голос зависти. Но зависть прозорлива, и к голосу ее мы должны прислушиваться.

Наконец, в Писании любовь между Богом и человеком редко уподобляется дружбе. Конечно, слова о "друзьях" есть; но гораздо чаще, подыскивая образ для самой высокой любви, Писание как бы не замечает ангельской связи личностей и погружается в глубины несравненно более

естественных, связанных с инстинктом союзов: привязанности (Бог – наш Отец) и влюбленности (Христос – Жених Церкви).

Начнем с первого обстоятельства. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому: "И ты тоже? А я думал, я один..." Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру; могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта! Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились. Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь ненависть или злобу.

Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса – нет, в десять минут – взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили "равные нам". Они и только они понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы – боимся. Крохотные общины первых христиан выжили потому, что были глухи к голосу "мира сего". Но преступники, маньяки, педерасты выживают по той же самой причине: они не слышат "внешних – этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное.

Вот почему начальство не любит дружбы. Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости; бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса; бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее

склонить их к добру – или ко злу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все – соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства.

И все же опасности эти реальны. Дружба – школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого – хуже. Как и всякая естественная любовь, она страдает склонностью к определенной болезни.

Всякой дружбе – и доброй, и дурной, и просто безвредной – присуща глухота. Даже филателисты резонно не считаются со всеми, кто находит их занятие пустой тратой времени или ничего о нем не знает. Основатели метеорологии резонно не считались с теми, кто думал, что буря – порождение ведовства. Тут ничего плохого нет. Я – вне круга игроков в гольф, математиков или мотоциклистов, и они вправе считать меня чужаком. Тем, кто скучен друг другу, незачем часто видеться; тем, кто друг другу интересен, видеться надо часто.

Плохо другое: частичная и резонная глухота к чужому мнению может переродиться в глухоту полную и необоснованную. Самый наглядный тому пример – не дружеский круг, а правящий класс. Мы знаем, что во времена Христа думали священнослужители о мирянах. Рыцари в хрониках Фруассара не испытывали ни любви, ни милости к простому люду. В своем кругу у них были на редкость высокие понятия о чести, великодушии и учтивости. Осмотрительному и своекорыстному крестьянину эти понятия показались бы просто глупыми. Рыцари с его мнением не считались, а если бы посчитались – у нас самих теперь было бы гораздо меньше чести и учтивости. Но презрение к чужому взгляду даром не проходит. Тому, кто не слышал крестьянина, высмеивавшего честь, было легче не услышать его, когда он взывал к милости. Неполная глухота,

даже если она благородна, помогает обрести глухоту полную, которая неизбежно пропитана злобой и гордыней.

Конечно, дружеский круг – не класс и поработить мир не может. Но закон в нем действует тот же самый. Друзья могут окружить себя стеной пустоты, которую не пробьет никакой призыв. Писатели или художники, не считавшиеся поначалу с примитивными взглядами простых людей на литературу и живопись, могут потом не считаться и с другими их взглядами – что надо платить долги, стричь ногти и вести себя вежливо. Любые недостатки дружеского круга (а они есть у всякого) могут стать неизлечимыми. И это не все. Поначалу глухота основана на каком-то реальном превосходстве, потом она сама порождает чувство превосходства вообще. Круг презирает и знать не хочет "внешних". Он и впрямь становится классом, самозваной аристократией.

Мы видели, что друг нередко чувствует себя недостойным своих друзей. Он знает, как они блестящи, и счастлив, что они его приняли. Но, как ни жаль, "они" здесь – это и "мы". Очень легко перейти от личной скромности к гордыне избранного круга.

Я имею в виду не снобизм. Сноб хочет присоединиться к кругу, который уже считают элитой; друзьям грозит опасность счесть элитой самих себя. Читатель, знающий дружбу, станет пылко заверять, что его круг миновала такая опасность. Кажется так и мне. Но лучше не полагаться на свое суждение. Во всяком случае, тенденция эта, несомненно, есть у всех, кто нас называет чужаками.

Однажды два священника заговорили при мне о "нетварных энергиях", которые, как оказалось, не Бог. Я спросил: "Разве может быть что-то нетварное, кроме Бога, ведь в Символе веры говорится, что Он – "творец всего видимого и невидимого"?" Они переглянулись и засмеялись. Я не обиделся, но все же хотел ответа. Смеялись они не высокомерно. Так смеются взрослые, когда ребенок спросит

то, о чем не спрашивают. Быть может, ответ у них был, но они знали, что мне его не понять. Если бы они так и сказали, я не обвинял бы их в гордыне круга. Взгляд их и смех воплотили самую ее суть. Она и не думает оскорбить. Собственное превосходство так ясно, что можно позволить себе терпимость, вежливость и олимпийское спокойствие.

Гордыня эта, однако, может не только вознести на спокойную высоту Олимпа, но и уподобить нас мятежным титанам. Как-то раз, когда студенты (вполне обоснованно) ругали мою статью, один из них, упорный, как грызун, вел себя так, что мне пришлось сказать: "За последние пять минут вы дважды обвинили меня во лжи. Если вы не можете спорить иначе, я уйду". Я думал, он или взорвется, или попросит прощения. Как ни странно, он не сделал ни того, ни другого. Он продолжил выражаться в том же духе. Нас явно разделял железный занавес. Студент этот не мог вступить ни в какой личный контакт – ни во вражеский, ни в дружеский – с такими, как я. Почти несомненно, за этим стоял какой-нибудь замкнутый круг Для него мы не люди, а образчики возраста, типа, круга, с которым давно пора покончить Общаясь с нами, он, в сущности, с нами не общался, он делал дело, распылял дуст (я сам слышал, как один из них употребил этот образ).

Два милых священника и не особенно милый грызун были очень образованны, как и те, кто при Эдуарде прямо называли себя "избранными". Но гордыня круга может поразить и вполне обычных людей, и выражаться тогда она будет гораздо грубее. Все мы видели, как говорят мальчишки в школе с "новеньким" или старые друзья в кабаке – при случайном посетителе. Они всячески показывают, что ему их не понять. В сущности, дружба может стоять на этом одном. При чужаке с наслаждением, как бы походя, называют отсутствующих, чтобы он не знал, о ком идет речь. Как-то мне повстречался человек, который так и сыпал неведомыми именами "Ричард Баттон мне сказал..." – начинал он фразу. Мы по молодости не смели выдать ни ему, ни друг другу, что

никогда не слышали о Ричарде Баттоне. Много позже мы узнали, что он был никому из нас не известен. (Я даже подозреваю, что ни Ричард Баттон, ни Езекия Кромвеллс, ни Элинор Форсайт вообще не жили на свете А мы целый год ходили пришибленные.)

И олимпийскую, и мятежную, и пошлую гордыню круга найти нетрудно. Опрометчиво счесть, что наш собственный круг ее лишен. Опасность эта почти неотделима от дружеской любви Быть может, мы не станем ни бунтарями-титанами, ни простыми хамами, мы станем "избранными". Общность, соединившая нас, исчезнет, и мы будем "кругом ради круга", самозваной (а потому нелепой) аристократией.

Иногда такой круг начинает набирать рекрутов. Он принимает уже не тех, кто видел ту же истину, а "понимающих людей" Участие в нем дает какие-то выгоды, хотя бы на уровне полка, школы или причта. Члены его помогают своим и вместе борются с чужими; беседы о Боге или о стихах сменяются деловыми переговорами. Это справедливо. "Прах ты, и в прах возвратишься", – сказал Бог Адаму.40 Дружба, лишенная своей души, извратилась в приятельство. Круг уподобился первобытным охотникам. Они и есть охотники, но не самые достойные.

Толпа никогда не бывает совершенно права, не бывает она и совершенно не права. Совсем неверно, что люди вступают в дружбу только спеси ради. Но спесь действительно угрожает всякой дружбе. Самая духовная любовь подвержена духовной опасности. Если хотите, дружба уподобляет нас ангелам; но для того, чтобы вкушать ангельский хлеб, человеку нужен тройной покров смирения.

Быть может, сейчас мы догадаемся, почему Писание так редко пользуется образом дружбы. Она слишком духовна, чтобы стать символом духовного. Высшее не стоит без низшего. Господь может смело называть Себя Отцом и Женихом – ведь только сумасшедший подумает, что Он действительно зачал нас или физически вступил в брак с

Церковью. Слово "друг" мы способны понять не как символ, а как самую истину, и оно станет особенно опасным. Мы получим право принять близость дружбы "по сходству" к жизни в Боге за истинную, настоящую близость.

Таким образом, дружба, как и всякая естественная любовь, не может сама себя спасти. Она духовна, враг ее тоньше, и потому она особенно сильно должна взывать к небесной защите, если хочет остаться безгрешной. Смотрите, как узка ее тропа. Дружба не должна стать "обществом взаимного восхищения", но без взаимного восхищения она не может жить Друзья восхищаются друг другом, как восхитились друг другом Христиана и ее подруга в "Пути паломника", когда омылись и облеклись в чистые одежды. "Они благоговейно страшились друг друга, ибо не видели своего сияния, но видели его у другой. Теперь они почитали друг друга более, чем себя. "Ты красивей меня", – говорила одна. "А ты лучше меня", – говорила другая". Опасность минует нас, если мы будем помнить об омовении и чистых одеждах. Чем выше основа нашей дружбы, тем тверже должны мы это помнить. Если дружба основана на вере, гибель ее будет ужасна.

Нам покажется, что мы – четверо или пятеро – выбрали друг друга, потому что умным оком проникли в сокровенную красоту другого; что мы сами, по своей воле, стали особым, высшим классом, поднялись своими силами над прочими людьми. Ни привязанность, ни влюбленность такой иллюзии не порождают. В привязанности выбираем не мы. Что же до влюбленности, половина любовных стихов и песен расскажет нам, что возлюбленная – наш рок, наша судьба и любовь к ней не больше зависит от нашего выбора, чем удар молнии. Стрелы Амура, гены, что хотите, только не мы. В дружбе нам кажется, что мы выбираем себе равных. На самом деле тут замешана масса случайностей. Родись мы раньше, живи дольше, не заведи какого-нибудь разговора, и дружбы не было бы. Но для христианина нет случайностей. Христос поистине может сказать всякому кругу друзей: "Не

вы избрали друг друга, но Я избрал вас друг для друга". Дружба – не награда за ум или вкус, а орудие Божие, с ее помощью Господь открывает нам красоту другого человека. Этот человек не лучше сотен прочих, но мы увидели его. Как и все доброе, красота эта – от Бога, и потому в хорошей дружбе Он ее умножит. Господь, а не мы созывает наших гостей и, посмеем надеяться, правит нашим дружеским пиром. Во всяком случае, так быть должно. Не будем же ничего решать без Хозяина.

Речь не о том, чтобы дружить торжественно. Упаси нас от этого Господь, творец доброго смеха! Среди прекрасных и трудных тонкостей жизни есть и такая: надо очень серьезно относиться к некоторым вещам и принимать их легко, как игру. Но об этом мы поговорим в следующей главе. А пока приведу лишь дивно уравновешенный совет Денбара:

Хвалите Бога всем на радость,

На мир же сей не полагайтесь.

V. Влюбленность

Многие, наверное, удивились, когда я назвал привязанность тем видом любви, который уподобляет нас животным. Как же так? Разве половое влечение – не лучший пример? Лучший, конечно, но я говорю о любви. Половое влечение интересует нас сейчас в той мере, в какой оно входит в сложное чувство, именуемое влюбленностью. Может оно и не входить; что во влюбленности много другого, я и доказывать не стану. Половое чувство без влюбленности назовем, по старому обычаю, вожделением. Под ним мы будем понимать не какие-то неосознанные импульсы, а самое простое, явное влечение, которое не скрыто от тех, кто его испытывает.

Итак, вожделение может входить во влюбленность, может и не входить. Спешу заверить, что я различаю их для

четкости исследования, а не из нравственных соображений. Я не считаю, что без влюбленности соитие нечисто, низко, постыдно. Если все, кто совокупляются без влюбленности, гнусны и ужасны, происхождением мы похвастаться не можем. На свете всегда было гораздо больше таких союзов. Почти всех наших предков женили родители, и они зачинали детей, повинуясь только животному желанию. И ничего низкого тут не было, а были послушание, честность, верность и страх Божий. При самой же сильной, самой высокой влюбленности соитие может быть прелюбодейным, может означать жестокость, ложь, измену мужу или другу, нарушение гостеприимства, горе для детей. Бог не хочет, чтобы различие между грехом и долгом зависело от оттенков чувства. Как и всякое действие, соитие оправдывается или осуждается четче и проще. Все дело в том, выполняем мы или нарушаем обещанное, добры мы или жестоки, правдивы или лживы. Я вывожу вожделение без влюбленности за пределы исследования просто потому, что оно не входит в наш предмет.

Для поборника эволюции влюбленность – плод вожделения, развитие и усложнение биологических инстинктов. Так бывает, но далеко не всегда. Гораздо чаще мы поначалу просто очарованы женщиной, нас интересует в ней все, у нас и времени нет помыслить о вожделении. Если нас спросят, чего мы хотим, мы должны бы ответить: "Думать о ней и думать". Любовь наша созерцательна. Когда же со временем проклюнется страсть, мы не решим (если наука не собьет нас с толку), что в ней-то и было все дело. Скорее мы почувствуем, что прилив любви, который смыл и разрушил в нас много скал и замков, добрался и до этой лужицы, всегда бывшей на берегу. Влюбленность вступает в человека, словно завоеватель, и переделывает по-своему все взятые земли. До земли полового влечения она доходит не сразу; и переделывает ее.

Лучше всего об этом сказал Джордж Оруэлл. Ужасный герой "1984", гораздо менее похожий на человека, чем герои

замечательного "Скотного двора", говорит женщине: "Ты любишь этим заниматься? Не со мной, я спрашиваю, а вообще?" Вожделение без влюбленности стремится к соитию, влюбленность – к самому человеку.

Как неудачна фраза: "Ему нужна женщина!" Строго говоря, именно женщина ему не нужна. Ему нужно удовольствие, мало возможное без женщины. О том, как он ее ценит, можно судить по его поведению через пять минут. Влюбленному же нужна даже не женщина вообще, а именно эта женщина. Ему нужна его возлюбленная, а не наслаждение, которое она может дать. Никто не прикидывает в уме, что объятия любимой женщины приятнее всех прочих. Если мы об этом подумаем, мы с этим согласимся, но выйдем за пределы влюбленности. Я знаю только одного человека, совершившего такой подсчет, – Лукреция, и влюблен он при этом не был. А ответил он так: влюбленность мешает наслаждению, чувства отвлекают, труднее со знанием дела смаковать удовольствие (поэт он хороший, но, "О, Боже, что же это за народ!").

Читатель заметит, что влюбленность чудотворно преображает удовольствие-нужду в высшее из всех удовольствий-оценок. Нужда направлена здесь на всего человека, и ценность его выходит далеко за пределы нужды.

Если бы мы этого не испытали, если бы мы судили со стороны, мы бы просто не поняли, как можно желать человека, а не удовольствие, удобство, пользу, которые он способен дать. Действительно, объяснить это трудно. Влюбленному повульгарней это кое-как удается, когда он говорит "Я бы тебя съел!" Мильтону удалось больше, когда он писал, что тела ангелов, состоящие из света, полностью проникают друг в друга. Преуспел и Чарльз Уильямс, сказавший: "Люблю ли я тебя? Да я – это ты!"

Вожделение без влюбленности, как все желания, связано с нами. Во влюбленности оно связано скорее с возлюбленной. Оно – средство восприятия и средство

выражения; потому оно так небрежно относится к наслаждению. Мысли о наслаждении вернули бы влюбленного в себя. И потом, о чьем наслаждении речь? Влюбленность уничтожает разницу между словами "брать" и "давать".

Пока что я просто описываю, еще не оцениваю. Но неизбежно встанут и нравственные вопросы, и я не скрою, что думаю о них. Все дальнейшее – лишь догадки. Пусть меня поправят те, кто лучше меня жил, влюблялся и верил.

Раньше считали, и теперь считают люди попроще, что духовная опасность влюбленности – именно в вожделении. Старым богословам, видимо, казалось, что брак опасен полным и душепагубным погружением в чувственность. Писание судит об этом не так. Апостол Павел, отговаривая новообращенных от брака, ничего по этому поводу не говорит и даже советует не уклоняться надолго друг от друга (1 Кор 7:5). Доводы его иные: он боится, что муж станет "угождать" жене, жена – мужу. Самый брак, а не брачное ложе может отвлечь нас от христианской жизни. Я и сам знаю по опыту, что – и в браке, и вне брака – от нее сильнее всего отвлекает комариный рой каждодневных забот. Великое и постоянное искушение брака – не сладострастие, а любостяжание. Что же до влюбленности, при всем почтении к старым учителям я помню, что они – монахи и, наверное, не знали, как воздействует она на половую сферу. Влюбленность умягчает, утишает блудную страсть. Не уменьшая желания, она намного облегчает воздержание. Конечно, и само поклонение возлюбленной может стать помехой на духовном пути, но причина тому – иная

Я скажу позже, в чем, по-моему, духовная опасность влюбленности. Сейчас поговорим об опасности, которая связана с соитием. Тут я разойдусь во мнениях не с человечеством, а с теми, кто вещает от его имени. Мне кажется, нас учат относиться к этому действию с неверной

серьезностью. Чем дольше я живу, тем важнее и многозначительней взирают люди на так называемый секс

Один молодой человек, которому я сказал, что некая новая книга – чистая порнография, искренне удивился: "Ну что вы! Она такая серьезная". Друзья наши, поклонники "темных богов", собираются восстановить в правах фаллический культ. Самые малопристойные пьесы изображают все дело как "бездну упоенья", неумолимый рок, религиозный экстаз. А психоаналитики так запугали нас бесконечной важностью физиологической совместимости, что молодые пары в кровать не лягут без трудов Фрейда, Крафта-Эбинга, Хэвлока Эллиса и д-ра Стопе.Честное слово, им больше помог бы старый добрый Овидий, который замечал любую муху, но не делал из нее слона. Мы дошли до того, что нам прежде всего нужен старомодный здоровый смех.

"Как же так? – скажут мне.- Ведь это действительно серьезно". Еще бы, куда уж серьезнее! Серьезно с богословской точки зрения, ибо брачное соитие, по воле Божьей,- образ союза между Богом и человеком. Серьезно, как естественное, природное таинство, брак неба-отца и матери земли. Серьезно с точки зрения нравственной, ибо налагает серьезнейшие в мире обязательства. Наконец (иногда, не всегда), очень серьезно как переживание.

Но и еда серьезна. С богословской точки зрения мы вкушаем хлеб в Святом Причастии. С нравственной – мы должны кормить голодных. С социальной – стол издавна соединяет людей. С медицинской – это знают все, кто болел желудком. Однако мы не берем к обеду учебников и не ведем себя за ужином как в храме. А если уж кто то и ведет себя так, то чревоугодник, а не святой.

Нельзя относиться с важностью к страсти, да и невозможно, для этого надо насиловать свою природу. Не случайно все языки и все литературы полны шуток на эти темы. Многие шутки пошлы, многие гнусны, и все до одной

– стары. Но, смею утверждать, в них отражено то отношение к соитию, которое гораздо невинней многозначительной серьезности. Отгоните смех от брачного ложа, и оно станет алтарем. Страсть обернется ложной богиней – более ложной, чем Афродита, которая любила смех. Люди правы, ощущая, что страсть – скорее комический дух, вроде гнома или эльфа.

Если же мы этого не ощутим, она сама и отомстит нам. Отомстит сразу, ибо, как говорил сэр Томас Браун, она велит нам совершать "самое глупое действие, какое только может совершить умный человек". Если мы относились к этому действию серьезно, нам станет стыдно и даже противно, когда, по словам того же сэра Томаса, "безумие минует и мы оглянемся и увидим, как недостойно и нелепо себя вели".

Но бывает месть и похуже. Страсть – насмешливое, лукавое божество, она ближе к эльфам, чем к богам. Она любит подшутить над нами. Когда наконец мы можем ей предаться, она уходит от обоих или от одного из нас. Пока влюбленные обменивались взглядами в метро, в магазине, в гостях, она бушевала во всю свою силу. И вдруг ее нет как не было. Сами знаете, сколько за этим следует досады, обиды, подозрений, жалости к себе. Но если вы ее не обожествляли, если вы относились к ней здраво, вы только посмеетесь. И это входит в игру.

Поистине, Господь шутил, когда связал такое страшное, такое высокое чувство, как влюбленность, с чисто телесным желанием, неизбежно и бестактно проявляющим свою зависимость от еды, погоды, пищеварения. Влюбившись, мы летаем; вожделение напоминает нам, что мы – воздушные шары на привязи. Снова и снова убеждаемся мы, что человек двусоставен, что он сродни и ангелу, и коту. Плохо, если мы не примем этой шутки. Поверьте, Бог пошутил не только для того, чтобы придержать нас, но и для того, чтобы дать нам ни с чем не сравнимую радость.

У нас, людей, три точки зрения на наше тело. Аскеты-язычники зовут его темницей или могилой души, христиане

вроде Фишера- пищей для червей, постыдным, грязным источником искушений для грешника и уничижением для праведника. Поклонники язычества (очень редко знающие греческий), нудисты, служители темных богов славят его вовсю. А святой Франциск называл его братом ослом. Быть может, все они в чем-то правы. Но я выбираю Франциска.

"Осел" – то самое слово. Ни один человек в здравом уме не станет ненавидеть осла или ему поклоняться. Это полезная, двужильная, ленивая, упрямая, терпеливая, смешная тварь, которая может и умилить нас, и рассердить. Сейчас он заслужил морковку, сейчас – палку. Красота его нелепа и трогательна. Так и тело: мы не уживемся с ним, пока не поймем, что среди прочего оно состоит при нас шутом. Да это и понимают все – и мужчины, и женщины, и дети, – если их не сбили с толку теории. То, что у нас есть тело, – самая старая на свете шутка. Смерть, живопись, изучение медицины и влюбленность велят нам иногда об этом забыть. Но ошибется тот, кто поверит, что так всегда и будет во влюбленности. На самом деле, если любовь их не кончится скоро, влюбленные снова и снова ощущают, как "близко к игре, как смешно, как нелепо телесное ее выражение. Если же не чувствуют, тело их накажет. На таком громоздком инструменте не сыграешь небесной мелодии; но мы можем обыграть и полюбить саму его громоздкость. Высшее не стоит без низшего. Конечно, бывают минуты, когда и тело исполнено поэзии, но непоэтичного в нем гораздо больше. Лучше взглянуть на это прямо, как на комическую интермедию, чем делать вид, что мы этого не замечаем. (В старых комических пьесах любви героя и героини вторила более земная любовь лакея и служанки. Оселка и Одри.)

Интермедия нужна нам. Наслаждение, доведенное до предела, мучительно, как боль. От счастливой любви плачут, как от горя. Страсть не всегда приходит в таком обличье, но часто бывает так, и потому мы не должны забывать о смехе. Когда естественное кажется божественным, бес поджидает за углом.

Отказаться от полного погружения, помнить о легкости даже тогда, когда все серьезней серьезного, особенно важно потому, что Венера в своей настойчивой силе внушает многим (надеюсь, не всем) некоторые странности. Мужчина, пусть ненадолго, может ощутить себя властелином, победителем, захватчиком, женщина – добровольной жертвой. Любовная игра бывает и грубой, и жестокой. Разве могут нормальные люди на это идти? Разве могут христиане это себе позволить?

Мне кажется, это не причинит вреда при одном условии. Мы должны помнить, что участвуем в некоем "языческом таинстве". В дружбе, как мы уже говорили, каждый представляет сам себя. Здесь мы тоже представители, но совсем иные. Через нас мужское и женское начала мира, все активное и все пассивное приходит в единение. Мужчина играет Небо-Отца, Женщина – Мать-Землю; мужчина играет форму, женщина – материю. Поймите глубоко и правильно слово "играет". Тут и речи нет о притворстве. Мы участвуем, с одной стороны, в мистерии, с другой – в веселой шараде.

Женщина, приписавшая лично себе эту полную жертвенность, поклонится идолу – отдаст мужчине то, что принадлежит Богу. Мужчина, приписавший себе власть и силу, которой его одарили на считанные минуты, будет последним хлыщом, более того, богохульником. Но можно играть по правилам. Вне ритуала, вне шарады и женщина, и мужчина – бессмертные души, свободные граждане, просто два взрослых человека. Не думайте, что мужчина, особенно властный в соитии, властен и в жизни: скорее наоборот. В обряде же оба – бог и богиня, и равенства между ними нет, вернее, отношения их асимметричны.

Многие удивятся, что я уподобляю маскараду то, что считается самым неприкровенным, откровенным, истинным. Разве обнаженный человек не больше "похож на себя"? В определенном смысле, нет. Обнаженный – причастие прошедшего времени, результат какого-то действия.

Человека облупили, как яйцо, очистили, как яблоко. Нашим предкам обнаженный представлялся ненормальным. На мужском пляже видно, что нагота стирает индивидуальное, подчеркивает общее. В этом смысле на себя похож одетый. Обнажившись, возлюбленные уже не только Петр или Анна, но Он и Она. Они облачились в наготу, как в ритуальные одежды, или обрядились в нее, как в маскарадный костюм. Напомню снова, неверная серьезность очень опасна. Небо-Отец – языческое мечтание о Том, Кто выше Зевса и мужественней мужа. Смертный человек не вправе всерьез носить Его корону, он надевает ее подобие из фольги. В моих словах нет пренебрежения. Я люблю ритуал, люблю домашний театр, люблю и шарады. Игрушечные короны в своем контексте серьезны. Они ничем не хуже земных знаков величия.

Языческое таинство нельзя и опасно смешивать с таинством неизмеримо высшим. Природа венчает нас на этот недолгий срок; Божий Закон венчает навсегда, препоручая нам особую власть. К языческому таинству мы склонны относиться с неверной серьезностью, к христианскому – с пагубной легкостью. Религиозные писатели (особенно Мильтон) иногда говорят о власти мужа с таким удовольствием, что страшно становится. Но откроем Писание. Муж – глава жене ровно в той мере, в какой Христос – глава Церкви, а Христос "предал Себя за нее" (Еф. 5:25). Тем самым, главенство это воплощено всего лучше не в счастливом браке, а в браке крестном – там, где жена много берет и мало дает, где она недостойна мужа, где ее очень трудно любить. У Церкви лишь та красота, которую даровал ей Жених; Он не находит красавицу, а создает ее. Миро, которым помазали мужа на царство, – не радости, а горести; болезни и печали доброй жены, эгоизм и лживость дурной, нетленная и скрытая забота, неистощимое прощение (прощение, не попустительство!). Христос провидит в гордой, слабой, ханжеской, фанатичной, теплохладной Церкви Невесту, которая предстанет перед Ним без пятна и порока, и неустанно трудится, чтобы ее к этому приблизить.

Так и муж, уподобивший себя Христу; а иное нам не дозволено. Христианский муж – король Кофетуа, который и через двадцать лет все надеется, что жена его станет говорить правду и мыть за ушами.

Я ни в какой мере не считаю, что мудро или добродетельно желать несчастного брака. В самозваном мученичестве нет ни мудрости, ни добра; но именно мученик полнее всех уподобится Спасителю. В мученическом браке, если уж он случился и если муж его вынес, главенство мужа ближе всего к главенству Христа.

Самая рьяная феминистка не вправе завидовать моему полу ни в языческом, ни в христианском таинстве. Первое венчает нас бумажной короной, второе – терновым венцом. Опасность не в том, что мы обрадуемся терниям, а в том, что мы уступим их жене.

Вернемся от вожделения к самой влюбленности. Здесь все очень похоже. Как вожделение влюбленных не стремится к наслаждению, так влюбленность во всей своей полноте не стремится к счастью. Всякий знает, что бесполезно пугать несчастиями людей, которых мы хотим разлучить. Они не поверят нам, но не в этом дело. Вернейший знак влюбленности в том, что человек предпочитает несчастье вместе с возлюбленной любому счастью без нее. Даже если влюбились люди немолодые, которые знают, что разбитое сердце склеивается, они ни за что не хотят пройти через горе расставания. Все эти расчеты недостойны влюбленности, как холодный и низменный расчет Лукреция недостоин вожделения. Когда самим влюбленным ясно, что союз их принесет одни мучения, влюбленность твердо отвечает: "Все лучше разлуки". Если же мы так не ответим, мы не влюблены.

В этом – и величие, и ужас любви. Но рядом с величием и ужасом идет веселая легкость. Влюбленность, как и соитие, – вечный предмет шуток. Когда у влюбленных все так плохо, что, глядя на них, плачешь – в нищете, в больнице, на

тюремном свидании, – веселье их поражает нас и трогает так, что это невозможно вынести. Неверно думать, что насмешка всегда враждебна. Если у влюбленных нет ребенка, над которым можно подшучивать, они вечно подшучивают друг над другом.

Влюбленность не ищет своего, не ищет земного счастья, выводит за пределы самости. Она похожа на весть из вечного мира.

И все же она – не Любовь. Во всем своем величии и самоотречении она может привести и ко злу. Мы ошибаемся, думая, что к греху ведет бездуховное, низменное чувство. К жестокости, неправде, самоубийству и убийству ведет не преходящая похоть, а высокая, истинная влюбленность, искренняя и жертвенная свыше всякой меры.

Некоторые мыслители полагали, что голос влюбленности запределен и веления ее абсолютны. Согласно Платону, влюбившись, мы узнаем друг в друге души, предназначенные одна для другой до нашего рождения. Как миф, выражающий чувства влюбленных, это прекрасно и точно. Если же мы примем это буквально, возникнут затруднения. Придется вывести, что в том мире дела идут не лучше, чем в этом. Ведь влюбленность нередко соединяет совершенно неподходящих людей. Многие заведомо несчастные браки были браками по любви.

В наши дни больше любят теорию, которую я назвал бы романтической, а поборник ее Бернард Шоу называл "метабиологической". Оказывается, устами влюбленности глаголет не потусторонний мир, а "elan vital", "жизненная сила", некий "импульс эволюции". Настигая ту или иную пару, влюбленность подыскивает предков для сверхчеловека. И счастье, и нравственность – ничто перед будущим совершенством вида. Если бы это было так, я не понимаю, зачем нам повиноваться. Все описания сверхчеловека столь отвратительны, что в монахи пойдешь, лишь бы его не зачать. Кроме того, если верить этой теории,

получается, что "жизненная сила" плохо знает свое дело. Сильная влюбленность ни в коей мере не обеспечивает высокосортного потомства и потомства вообще. Чтобы ребенок был хорош, нужны не влюбленные, а хорошие "производители". И потом, что эта сила делала столько столетий, когда деторождение зависело чаще всего от сватовства, набегов и рабства? Быть может, ей лишь в наши дни захотелось улучшить вид?

Ни Платон, ни Шоу христианину тут не помогут. Мы не поклоняемся "жизненной силе" и ничего не знаем о том, что было с нами до рождения Когда влюбленность говорит как власть имеющий, мы не обязаны ее слушаться. Конечно, она божественна по сходству, но не по близости. Если мы не пожертвуем ради нее ни любовью к Богу, ни милосердием, она может приблизить нас к Царствию. Ее полное самоотречение – модель, заготовка любви, которой мы должны любить Бога и человека. Природа помогает нам понять, что такое "слава"; влюбленность помогает понять, что такое любовь. Христос говорит нам ее устами: "Вот так – так радостно, так бескорыстно ты должен любить Меня и меньшего из братьев Моих". Конечно, это не значит, что всякий обязан влюбиться. Некоторые должны пожертвовать влюбленностью (но не презирать ее). Другие вправе ее использовать как горючее для брака. В самом браке ею одной не обойдешься, да и выживет она лишь в том случае, если мы будем непрестанно очищать и оберегать ее.

Если же мы поклонимся ей безусловно, она станет бесом. А она как раз и требует безусловного подчинения и поклонения. Она по-ангельски не слышит зова самости, по-бесовски не слышит ни Бога, ни ближнего. Когда я много лет назад писал о средневековой поэзии, я был так слеп, что счел культ любви литературной условностью. Сейчас я знаю, что влюбленность требует культа по самой своей природе. Из всех видов любви она, на высотах своих, больше всего похожа на Бога и всегда стремится превратить нас в своих служителей.

Богословы часто опасались, что этот вид любви приведет к идолослужению, кажется, они имели в виду, что влюбленные обоготворят друг друга. Но бояться надо не этого. В браке это вообще исключено: прекрасная простота и домашняя деловитость супружеской жизни обращают такой культ в явную нелепость. Мешает ему и привязанность, в которую неизбежно облечется влюбленность мужа и жены. Но и вне брака человек, знающий или хотя бы смутно понимающий тягу к запредельному, вряд ли вознадеется удовлетворить ее с помощью одной лишь возлюбленной. Возлюбленная может ему помочь, если она стремится к тому же, то есть если она друг, но просто смешно (простите за грубость) воздавать божеские почести ей самой. Настоящая опасность не в этом, а в том, что влюбленные начнут поклоняться влюбленности.

Посмотрите, как неверно понимают слова Спасителя: "...прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много" (Лк 7:47). Из контекста, а особенно из притчи о должниках явствует, что речь идет об ее любви к Христу, простившему ей много грехов. Но обычно понимают не так. Сперва решают почему-то, что грешила она именно против целомудрия, а потом – что Христос простил ей разврат, потому что она была сильно влюблена. Получается, что великий Эрос смывает любое зло, порожденное им самим.

Когда влюбленные говорят: "Мы это сделали ради любви", прислушайтесь к их тону. "Я это сделал из трусости" или "со зла" произносят совсем иначе. Заметьте, как гордо, почти благоговейно они выговаривают слово "любовь". Они не ссылаются на смягчающие обстоятельства, а взывают к высшему авторитету. Это не покаяние, а похвальба, иногда вызов.

Далила у Мильтона говорит, что права перед законом любви. В этом вся суть: у любви свой закон. Неповиновение ему – отступничество, греховное искушение – глас Божий. Влюбленные обрастают своей, особой религией. Бенжамен

Констан заметил, что за несколько недель у них создается общее прошлое, к которому они благоговейно обращаются, как псалмопевец к истории Израиля. Это их Ветхий завет, память о милостях к избранникам, приведшим их в обетованную землю. Есть у них и Новый завет. Теперь, соединившись, они уже под благодатью, закон им не писан.

Это оправдывает все, что бы они ни сделали. Я имею в виду не только и не столько грехи против целомудрия, сколько несправедливость и жестокость к "внешним". Влюбленные могут сказать: "Ради любви я обижаю родителей – оставляю детей – обманываю друга – отказываю ближнему". Все это оправдано законом любви. Влюбленные даже гордятся. Что дороже совести? А они принесли ее на алтарь своего бога.

Тем временем бог этот мрачно шутит. Влюбленность – самый непрочный вид любви. Мир полнится сетованиями на ее быстротечность, но влюбленные об этом не помнят. У влюбленного не надо просить обетов, он только и думает, как бы их дать. "Навсегда" – чуть ли не первое, что он скажет, и сам поверит себе. Никакой опыт не излечит от этого. Все мы знаем людей, которые то и дело влюбляются и каждый раз убеждены, что "вот это – настоящее".

И они правы. Влюбившись, мы вправе отвергать намеки на гленность наших чувств. Одним прыжком преодолела любовь высокую стену самости, пропитала альтруизмом похоть, презрела бренное земное счастье. Без всяких усилий мы выполнили заповедь о ближнем, правда, по отношению к одному человеку. Если мы ведем себя правильно, мы провидим и как бы репетируем такую любовь ко всем. Лишиться всего этого поистине страшно, как выйти из Христова искупления. Но влюбленность сулит нам то, что ей одной не выполнить.

Долго ли мы пробудем в этом блаженном состоянии? Спасибо, если неделю. Как и после обращения, скоро окажется, что старая, недобрая самость не так уж мертва. И

там, и тут она сбита с ног, но отдышится, приподнимется хотя бы на локоть и снова примется за свое. А преображенное вожделение, вполне возможно, выродится в простейшую похоть.

Все эти неприятности не расстроят союза двух хороших и умных людей. Опасны они – смертельно опасны – для тех, кто поклонился влюбленности. Такие люди вознадеялись на нее, как на бога, сочли, что простое чувство обеспечит их навечно всем необходимым. Когда надежда эта рухнет, они винят любовь или друг друга. Себя они винить могут, а влюбленность винить не за что. Как крестная мать, она дала за нас обеты, а уж наша работа – исполнить их. Мы сами должны стараться, чтобы каждодневная жизнь уподобилась райскому видению, мелькнувшему перед нами. Влюбленность препоручает нам свое дело. Это знают все, кто любит правильно, хотя немногие могут это выразить А настоящие христиане знают, что это скромное с виду дело требует смирения, милосердия и Божьей благодати, то есть христианской жизни.

Как и все виды естественной любви, влюбленность своими силами устоять не может; но она так сокрушительна, сладостна, страшна и возвышенна, что падение ее поистине ужасно. Хорошо, если она разобьется и умрет. Но она может выжить и безжалостно связать двух мучителей, которые будут брать, не давая, ревновать, подозревать, досадовать, бороться за власть и свободу, услаждаться скандалами. Прочитайте "Анну Каренину" и не думайте, что "такое" бывает только у русских. Вульгарная фраза "я бы тебя съел" оказывается правдой.

VI. Милосердие

Уильям Моррис написал: "Кроме любви, не нужно ничего", и кто-то откликнулся короткой рецензией: "Нужно". Об этом самом говорю и я. Естественной любви

недостаточно, нужно еще что-то. Поначалу мы смутно определим это, как "порядочность и здравый смысл", потом скажем четче: "Надо быть хорошим человеком" и, наконец, поймем, что вся христианская жизнь должна прийти на помощь нашим чувствам, если мы хотим, чтобы они не исказились.

Мы не умаляем этим естественную любовь, а показываем, где ее сила и слава. Разве мы обидим сад, если скажем, что он не может сам себя полоть, поливать и подрезать свои деревья? Сад хорош, но он останется садом, а не обратится в заросли, только если кто-то будет ухаживать за ним. Сравните цветущий, нерукотворный сад с лопатами, ножницами и гербицидом; вот красота, которой не создать человеку, вот какие-то серые, мертвые вещи. Так и наши "порядочность и здравый смысл" покажутся серыми рядом с естественной любовью. Всюду, где Господь насаждает сад, Он ставит над ним садовника, подвластного Ему Самому. Когда Господь посадил сад нашего естества. Он поставил над ним нашу волю. По сравнению с садом она холодна и суха. Без дождя и солнца Божьей благодати она ничего не даст. Но ее медленный, тяжкий, многое разрушающий труд совершенно необходим. Только упаси нас Боже трудиться так, как того требуют стоики и ханжи! Выпалывая плевелы и подрезая ветви, мы должны помнить, что работаем в дивном, живом саду, который не создать ни воле человеческой, ни разуму. Цель наша – помочь ему, чтобы деревья не прибило к земле, плоды не усохли и не стали дикими.

Но это не вся наша цель. Мы подошли к проблеме, разговор о которой я долго оттягивал. До сих пор я почти ничего не сказал о том, как естественная любовь становится соперницей любви к Богу. Оттягивал я по двум причинам.

Во-первых, соперничество это уже немногим знакомо. В наш век любовь к ближнему состязается с любовью к себе. Опасно требовать от человека, чтоб он отринул земную любовь, когда он до нее и не дорос. Куда как легко не любить

ближнего и думать, что это у нас от любви к Богу! Многим совсем нетрудно ненавидеть жену или мать. Мориак замечательно описывает, как смущены апостолы велением Спасителя, один лишь Иуда ничуть не удивляется.

Во-вторых, я должен был сперва описать, как гибнет естественная любовь, предоставленная самой себе. Одно это показывает, что она не вправе соперничать с Богом. Всякому ясно, что какой-нибудь царек не император, если он без императорской помощи не может навести порядок в собственной стране. Даже для своей собственной пользы любовь должна согласиться на второе место. В этом бремени – ее свобода; она выше, когда пригнется. Когда Бог воцаряется в нашем сердце, Ему приходится порой устранять его исконных обитателей, но чаще Он просто подчиняет их, впервые давая им твердую основу. Эмерсон сказал: "Боги приходят, когда уходят полубоги". Мысль эта сомнительна. Лучше скажем так: "Полубоги могут остаться, когда приходит Бог". Без Него они исчезнут или станут бесами. Мятежные слова "кроме любви, не нужно ничего" – смертный приговор естественной любви (дата исполнения не проставлена).

Но больше я оттягивать не буду. Если бы я писал в старину, тема эта заняла бы немалую часть книги о любви. Викторианцам невредно было напомнить, что, кроме любви, еще что-то нужно; до XIX в. богословы неустанно твердили, что естественная любовь у людей слишком сильна. Опасность бесчувствия была гораздо меньше. Боялись другого: что ближний, особенно родственник, станет кумиром. В ребенке или друге, жене или матери видели возможных соперников Богу.

Один довод против неумеренной любви к ближнему я отвергну сразу. Делать это мне страшно, потому что нашел я его у великого мыслителя и великого святого, которому очень многим обязан.

Августин описывает свою печаль по умершему другу Небридию так, что и сейчас плачешь над этими строками.62 И делает вывод: вот что бывает, когда прилепишься сердцем к чему-либо, кроме Бога. Люди смертны. Не будем же ставить на них. Любовь принесет радость, а не горе только тогда, когда мы обратим ее к Господу, ибо Он не покинет нас.

Ничего не скажешь, это разумно. Кто-кто, а я бы рад последовать совету. Я всегда готов перестраховаться. Из всех доводов против любви мне особенно близок призыв: "Осторожно! Будешь страдать".

По склонностям своим я бы послушался, но совесть не разрешит. Отвечая на этот призыв, я чувствую, как отдаляюсь от Спасителя. Я совершенно уверен, что Он и не собирался поддерживать и укреплять мою врожденную тягу к спокойному житью. Скорее уж именно она во мне меньше всего Ему нравится. Да и станет ли кто любить Бога по этой причине? Станет ли кто выбирать так жену, друга, собаку? Человек, способный на такой расчет, далеко за пределами любви. Беззаконная влюбленность, предпочитающая возлюбленную счастью, и та ближе к Богу.

Мне кажется, отрывок из "Исповеди" продиктован не столько христианством блаженного Августина, сколько высокоумными языческими учениями, которыми он увлекался прежде. Это ближе к "апатии" стоиков и мистике неоплатоников. Мы же призваны следовать за, Тем, Кто плакал над Лазарем и Иерусалимом, а одного из учеников как-то особенно любил. Апостол для нас выше Августина, а Павел и знаком не показывает, что не страдал бы, если бы умер Епафродит (Фил. 2:27).

Даже если застрахованность от горя и впрямь высшая мудрость, была ли она у Христа? По-видимому, нет. Кто, как не Он, возопил: "Для чего Ты Меня оставил?"

Августин не указывает нам выхода. Выхода нет вообще. Застраховаться невозможно, любовь чревата горем. Полюби

– и сердце твое в опасности. Если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю. Опутай его мелкими удовольствиями и прихотями; запри в ларце себялюбия. В этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно не разобьется. Его уже нельзя будет ни разбить, ни тронуть, ни спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску – гибель. Кроме рая, уберечься от опасностей любви можно только в аду.

Я думаю, самая беззаконная, самая неумеренная любовь не так противна Богу, как защитная черствость. Поддаваясь ей, мы, в сущности, закапываем талант, и по той же самой причине: "Я знал тебя, что ты человек жестокий". Христос не для того учил и страдал, чтобы мы тряслись над нашим счастьем. Ибо не забывший о расчете ради брата, которого видит, забудет ли о нем ради Бога, которого не видит? К Богу же мы приблизимся, не избегая скрытых в любви страданий, а принимая их и принося Ему. Если сердцу нашему должно разбиться, если Господь разобьет его любовью – да будет воля Его.

Конечно, всякая естественная любовь может стать неумеренной. Но слово это ничуть не означает "неосторожная". Не означает оно и "слишком большая". Тут дело не в количестве. Наверное, нельзя "слишком сильно" любить человека. Можно любить его слишком сильно по сравнению с любовью к Богу, но говорит это лишь, о том, что Бога мы любим слишком слабо. Уточним, чтобы слова эти никого не смутили. Многие, прочитав их, могут испугаться, что чувства их к Богу не так пылки, как чувства к людям. Хорошо бы, конечно, любить людей и Бога с равной пылкостью, и надо об этом молиться, но здесь речь не о том. Когда встает вопрос о соперничестве естественной любви и любви к Богу, дело не в силе и не в качестве этих чувств. Дело в том, кого вы выберете, если встанет выбор.

Как обычно, слова Спасителя и страшнее, и милостивее богословских рассуждений. Христос ничего не сказал о том,

что земная любовь чревата горем. Он говорит иное: ее надо отринуть, когда она мешает следовать за Ним. "Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14:26).

Как понять нам слово "возненавидит"? Быть не может, чтобы Сама Любовь велела нам испытывать все то, что мы понимаем под ненавистью, – досадовать, желать зла, радоваться несчастьям. Что такое ненависть для Спасителя, видно из беседы, когда Он воспротивился совету Петра, "Ненавидеть" значит не уступать, сопротивляться, когда тот, кого ты любишь – пусть мягко, пусть из жалости, – говорит с тобой от имени сатаны. Христос учит, что человек, служащий двум господам, возненавидит одного и возлюбит другого. Речь тут, конечно, не о чувствах, не об отвращении и восхищении. Такой человек будет соглашаться с одним, а не с другим, работать на него, служить ему. Еще вспомним слова: "Я возлюбил Иакова, а Иеава возненавидел" (Мал. 1:2-3). Как же ненавидел Господь Исава? Хотя сразу вслед за этим говорится, что Он "предал горы его опустошению, и владения его – шакалам пустыни", в Книге Бытия свидетельств об этом нет. У нас нет оснований считать, что Исав бедствовал или что душа его погибла. Более того, в мирском смысле Исав жил лучше Иакова. Не ему, а Иакову достались горести, унижения и потери. Но у Иакова было то, чего у Исава не было: он, а не его брат породил колена, передал обетование, стал предком Спасителя. Любовь к Иакову в том, что Господь счел его достойным высокого призвания; ненависть к Исаву – в том, что Господь его отверг. Так и мы должны отвергнуть близких, когда они встанут между нами и повиновением Богу. Вполне возможно, что они и впрямь сочтут это ненавистью.

Я не буду рассуждать о том, трудно ли это. Одним это легко, для других невыполнимо. Трудно для всех узнать, настало ли время "ненавидеть". Люди мягкие – нежные мужья и жены, заботливые родители, послушные дети – все

не могут признать, что оно наступило. Люди властные и своевольные решат, что оно пришло гораздо раньше, чем надо. Вот почему бесконечно важно так поставить дело, так настроить любовь, чтобы времени этому и наступать было незачем.

Как это делается, можно увидеть на неизмеримо низшем уровне. Отправляясь в поход, поэт говорит возлюбленной, что не любил" бы ее так сильно, не люби он честь еще сильней.69 Не всякая женщина это поймет. Для многих "честь" – одна из мужских отговорок, лишний предмет увильнуть, предательство. Но поэт знал, что его дама не хуже него понимает рыцарский кодекс, и потому ему не пришлось ее ненавидеть. Они давно договорились, что служат одному закону. Так и у нас. Когда настал выбор, поздно сообщать жене, матери, другу, что мы любили их с мысленной оговоркой: "пока это Богу не мешает". Мы должны предупредить близких – не вдруг, не прямо, а предупреждать их всегда, всей нашей жизнью, тысячами мелких решений. В сущности, если друг или возлюбленная этого не примут, не надо бы вступать с ними в дружбу или в брак. Когда для другого человека любовь – это все, в полном смысле слова, мы не вправе принимать его любовь.

Мы подошли к подножию последней лестницы, которую нам надо одолеть в этой книге. Теперь нам придется точнее и глубже сопоставить то, что люди зовут любовью, с Любовью-Богом. Конечно, уточнения наши останутся моделями, символами, неполными и даже условными. Ничтожнейшие из нас в состоянии благодати что-то знают (savent) о той Любви, которая есть Бог; но ни один мудрец и ни один святой не знают Ее (ne connaissent pas) иначе как в подобиях. Мы не видим света, хотя лишь благодаря свету мы вообще видим. Эти оговорки я делаю потому, что сейчас мне придется долго и дотошно объяснять, и вы можете подумать, что я что-то доподлинно знаю. Но я еще с ума не сошел. Все дальнейшее – мои мнения, если хотите – "частный миф".

Если что-то будет вам полезно – пользуйтесь, если нет – больше не думайте об этом.

Бог есть любовь. "В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас" (1 Ин. 4:10). Начнем не с нашей любви к Богу, а с Его любви к нам. Любовь эта – дар. Богу ничего не нужно. Он дает от полноты. Учение о том, что Бог "не был обязан" творить мир – не сухая схоластика; оно очень важно. Иначе нам придется мыслить Бога вроде какого-нибудь заведующего, директора, управителя. Надо помнить, что там, у себя, "в стране Троицы", Господь владеет несравненно большим Царством. Надо видеть то, что видела Иулиания Норичская: беседуя с ней, Господь держал в руке что-то маленькое, с орех, и это было "все тварное". Богу ничего не нужно; Он породил ненужные существа, чтобы любить их и совершенствовать. Он творит мир, предчувствуя (или чувствуя? для Него нет времен), как роятся мухи у креста, как больно касаться дерева израненной спиной, как перехватывает дыхание, когда обвиснет тело, как нестерпимо болят руки, когда приходится вздохнуть. Простите мне такой образ, Господь – "хозяин", породивший своих паразитов. Вот она, любовь. Вот Он, Бог, Творец всякой любви.

В нас, в самую нашу природу, Он вложил и любовь-дар, и любовь-нужду. Первая из них во всех своих видах – естественный образ Его любви. Она похожа на Бога, но не всех и не всегда приближает к Нему. Заботливая мать, рачительный начальник, добрый учитель могут непрестанно давать, увеличивая это сходство и ничуть не приближаясь к Богу. Все естественные виды любви-нужды на Бога непохожи. Они противоположны Богу-любви не как добро – злу, а как формочка – крему.

Но кроме естественной любви Господь дарует нам и любовь благодатную.

Прежде всего Он делает нас соучастниками Своей Любви. Это совсем не то, что естественная любовь-дар.

Люди, любящие естественной любовью, хотят другому не просто добра, а своего добра, на свой лад и вкус. Божья любовь-дар, действуя в человеке, ничего не навязывает, она совершенно бескорыстна. Кроме того, естественная любовь обращена к тем, кто нам нравится, кто согласен с нами, способен на благодарность, – словом, кажется нам достойным любви. Божья любовь, действуя на нас, дает нам силу любить невыносимых – врагов, преступников, идиотов, людей, утомляющих нас, презирающих, смеющихся над нами. Пойдем дальше; Господь дает нам ощутить любовь-дар к Нему самому. Конечно, мы не можем ничего дать Богу; но мы ведь способны отвратить от Бога волю и сердце, значит, способны и обратить их к Нему. То, что не существовало бы без Него (как нет песни без певца), Он отдал в наше распоряжение, чтобы мы могли свободно вернуть это Ему. И еще. Евангелие учит, что мы даем Богу, давая человеку. Любой, кого мы накормим и оденем, – Христос. Это тоже любовь-дар к Богу, хотя испытывающий ее иногда о том и не ведает. Да, Сама Любовь может действовать в тех, кто ничего о Ней не знает. Овцы из притчи понятия не имеют о том. Кто скрыт в больном, или в узнике, и в них самих. (Мне кажется, что притча эта – о суде над язычниками. "И соберутся пред Ним все народы", то есть "языки", "гойим".)

Всякий согласится, что такая любовь дается благодатью и зовется милосердием. Но я скажу кое-что, с чем согласится не всякий. Господь дает нам и два вида благодатной любви-нужды: любовь к Нему и любовь друг к другу. Говоря о любви к Богу, я имею в виду не любовь-оценку, не дар поклонения (об этом я, хоть и немного, поговорю позже), но именно любовь-нужду. Казалось бы, какая тут благодать? Нужда сродни корысти, а мы корыстью не обделены. Тем не менее я думаю то, что сказал. Словно река, пролагающая русло, или волшебное вино, творящее сосуд само для себя. Господь обращает нашу нужду в особый, высокий вид любви.

Остановимся сперва на благодатной любви-нужде к Богу. Конечно, самую нужду дает не благодать. Нужда "задана" уже одним тем, что мы – существа тварные, и бесконечно умножена тем, что мы – существа падшие. Благодать помогает нам понять ее, принять и обрадоваться. Ведь без благодати то, чего нам хочется, не совпадает с тем, что нам нужно.

Когда христиане вечно твердят о своей немощи, людям внешним кажется, что они заискивают перед тираном или произносят условные фразы, вроде китайских формул вежливости. На самом же деле мы снова и снова пытаемся побороть естественное, подсказанное природой ощущение. Как только мы поймем, что Господь нас любит, нас тянет думать, что мы чем-то заслужили Его любовь. Язычники этой мысли не противились; хороший человек был любимцем богов за свои добродетели. Мы знаем, что это не так, но уловок тут множество. Хорошо, мы Его любви не заслужили, но ведь как мы смиренны, когда так думаем! Быть может, наше смирение Ему и нравится? А если не оно – не осознание ли гордыни? Так, снимая пласт за пластом, все тоньше и тоньше, мы не можем избавиться от чувства, что мы, мы сами чем-то угодили Богу. Легко признать умом, трудно чувствовать, что мы – лишь зеркала и сверкаем, если сверкаем, только отраженным светом. Ну хоть капелька своего света в нас есть!

Из этого лабиринта нелепицы нас выводит благодать, даруя нам детское и радостное признание полной немощи. Мы становимся "веселыми нищими". Нам жаль, что мы согрешили, но не так уж жаль, что грех наш умножил нашу нужду. А о том, что мы вообще по природе своей ничто без Бога, мы ничуть не жалеем. Ведь именно та иллюзия, о которой я говорил, и мешала нам радоваться. Мы были, как человек, который хочет одной ногой, одним пальцем касаться дна и потому не знает радости плавания. Расставшись с последней претензией на свободу, силу или достоинства, мы обретаем достоинства, силу и свободу. Они

поистине наши и потому, что нам дал их Господь, и потому, что теперь мы знаем: в другом смысле слова они нашими быть не могут.

Кроме того, Господь преображает и любовь-нужду к людям. Всем нам бывает нужно – кому чаще, кому реже – милосердие, любовь к невыносимым. Оно нужно нам; но мы его не хотим. Нам хочется, чтобы нас любили за ум, красоту, обаяние, честность, таланты. Заподозрив, что к нам питают высший из всех видов любви, мы содрогаемся от обиды. Это так хорошо известно, что люди злобные притворяются, будто любят нас именно такой любовью. Когда мы хотим помириться с родственниками, другом, возлюбленной и слышим: "Я тебя прощаю по-христиански", – всякому ясно, что ссора продолжается. Конечно, отвечая так, человек лжет. Но он бы и лгать не стал, если бы не знал, как обидно чистое милосердие.

Принимать милосердие очень трудно, иногда труднее, чем давать. Мы лучше это увидим на крайнем примере. Представьте, что вскоре после свадьбы вы заболели тяжелейшей болезнью, но живы, хотя не можете ни работать, ни иметь детей. Жена содержит вас, с вами трудно и неприятно, вы становитесь все глупей, раздражительней, требовательней. Представьте еще, что терпение и жалость вашей жены неистощимы. Если вы можете принимать, ничего не давая, без досады, даже без самообвинений, прикрывающих жажду утешения, вы делаете то, чего любовь-нужда в естественном виде дать не может. (Конечно, и жена превосходит возможности естественной любви-дара, но сейчас речь не о том.) Однако все мы, того не ведая, получаем это. В каждом из нас есть что-нибудь невыносимое, и, если нас все равно любят, прощают, жалеют, это дар милосердия. Те, у кого хорошие родители, жена, муж или дети, должны помнить, что иногда (или всегда) их любят ни за что, просто потому, что в любящих действует Сама Любовь.

Так, войдя в человеческое сердце. Господь преображает не только любовь-дар, но и любовь-нужду, не только любовь-нужду к Себе, но и любовь-нужду к ближнему. Конечно, бывает иное. Господь является иногда, чтобы потребовать отказа от любви. Высокое и страшное призвание велит нам, как Аврааму, уйти от своего народа, из отчего дома. Если мы влюбились в чужую жену, мы должны жертвовать влюбленностью. Все это очень трудно, но вполне понятно. Непонятней другое: что естественную любовь, разрешенную Богом, все равно надо преобразить.

В таких случаях мы не заменяем ее милосердием, не выбрасываем серебра, чтобы набрать золота, а сплавляем золото с серебром. Привязанность, дружба или влюбленность останутся собою и станут одновременно милосердием.

Это вторит Воплощению, и ничего странного тут нет: замыслил их Один и Тот же. Христос – совершенный Бог и совершенный Человек; так и естественная любовь – совершенная привязанность, дружба, влюбленность и совершенное милосердие.

Как это делается, многие знают Любое проявление естественной любви (кроме греховных, конечно) может стать в добрую минуту и проявлением радостной, открытой, благодарной любви-нужды или бескорыстной, ненавязчивой, осторожной любви-дара. Игра, еда, шутка, выпивка, беседа ни о чем, прогулка – все может быть формой, в которой мы прощаем или принимаем прощение, утешаем или получаем утешение, не ищем своего.

Я сказал: в добрую минуту. Но минуты проходят. Полное и надежное преображение естественной любви – такой тяжкий труд, что, наверное, ни один падший человек не выполнил его. Однако без этого труда ничего у нас не выйдет.

Одна трудность – в том, что здесь, как и во всех хороших делах, мы можем пойти по соседней, неверной дороге. Иногда, усвоив этот принцип, семья начинает вести себя, а главное – говорить так, словно она достигла цели. Смотреть на это стыдно, а толку нет. Все непрестанно ищут духовного смысла любых ничтожнейших событий и поступков (не перед Богом, не закрывши дверь, а вместе и вслух), просят прощения, милостиво его даруют. Насколько проще с людьми, которые предоставят решать дело шутке, застолью или сну! Труд милосердия – самый тайный из всех трудов. Мы и сами, насколько возможно, не должны о нем знать. Вы немногого достигли, если играете с детьми в карты, чтобы показать им, что больше не сердитесь. Конечно, и это немало, но лучше бы правой руке не знать, что делает левая. Настоящее милосердие так настроит сердце, что вам больше всего захочется именно поиграть с детьми.

В труде этом нам помогают сами наши трудности. У нас всегда хватает поводов подбавить милосердия в любовь. Когда мы не ослеплены себялюбием, трения и провалы, неизбежные в естественной любви, показывают нам, что без милосердия не обойдешься. Когда же мы им ослеплены, мы понимаем их неверно. "Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела..." Да ведь всякий ребенок порой невыносим, а многие дети – чудовищны! "Если бы мой муж был поумнее...", "не так ленился...", "меньше бы выдумывал...", "если бы жена меньше ворчала...", "была поумнее...", "не так ломалась..."; "если бы отец стал помягче и посовременней..." Да ведь во всех, и в нас самих, что-то вынести невозможно, если на помощь не явятся милость, терпимость, жалость! Потому и приходится, опираясь на руку Божью, укреплять милосердием естественную любовь. Когда у близких много недостатков, догадаться об этом легче. Когда вроде бы все и так хорошо, нужно особое чутье, чтобы заметить опасность. Тут, как и везде, богатому труднее войти в Царство Небесное.

А войти в него надо, хотя бы для того, чтобы наша любовь стала вечной. Почти все мы этого хотим и надеемся, что с воскресением плоти воскреснут и земные связи между людьми. Должно быть, так оно и есть, но при одном условии – не произвольном, а вытекающем из сути вещей. В Царство войдет лишь то, что ему соответствует. Кровь и плоть, просто природа, Царства не наследуют. Человек может подняться на небо лишь потому, что Христос, умерший и вознесшийся, изобразился в нем. Так и любовь, только те ее виды, в которые вошло милосердие, поднимутся к Богу. Милосердие же войдет в естественную любовь лишь тогда, когда она разделит смерть Христову – когда природное в ней умрет, сразу или постепенно. Ничего не поделаешь, без смерти тут не обойтись. В моей любви к жене или другу вечно лишь преображающее ее начало. Только оно восставит из мертвых все остальное.

Богословы иногда задавались вопросом: узнаем ли мы друг друга в вечности и сохранятся ли там наши земные связи? Мне кажется, это зависит от того, какой стала или хотя бы становилась наша любовь на земле. Если она была только естественной, нам и делать нечего будет на небе с этим человеком. Когда мы встречаем взрослыми школьных друзей, нам нечего с ними делать, если в детстве нас соединяли только игры, подсказки или списывание. Так и на небе. Все, что не вечно, по сути своей устарело еще до рождения.

Но я не должен кончать на этой ноте. Я не смею и не хочу укреплять неверное и распространенное чувство, что цель христианской жизни – воссоединение с теми, кого мы любим и утратили. Слова мои покажутся немилосердными тем, кто плачет о близких, они не поверят мне, но все же я их скажу.

"Ты создал нас для Себя, – говорит Августин, – и не знает покоя сердце наше, пока не упокоится в Тебе". Это понятно в церкви или в весеннем лесу, когда мы гуляем там,

творя безмолвную молитву, но у смертного ложа это звучит издевкой. Однако настоящая издевка ждет нас, если мы вцепимся в надежду на новую встречу или, чего доброго, поторопим события с помощью спиритизма.

Если мой опыт меня не обманывает, мы сразу получаем сигнал, что тут что-то не так. Как только мы захотим использовать для утешения веру в запредельное, вера эта начинает убывать. У меня она сильна лишь в те минуты, когда в центре моих мыслей Бог. Веря и Него, я верю и в небеса. Когда же я пытался верить в будущую встречу, а потом – в небо, а уж потом – в Бога, ничего не выходило. Конечно, вообразить все можно. Но человек, умеющий глядеть на себя со стороны, быстро поймет, что это его собственные выдумки. А душа попроще почувствует, что призраки ничуть не утешают, и попытается подогреть себя самовнушением, нечистыми образами или, упаси Господь, ведовством.

Словом, опыт подсказывает нам, что не стоит обращаться к небу за земным утешением. Небо дает утешение небесное и ничего больше. А земля и земного утешения не даст. В конце концов, земного утешения нет.

Мечта о том, что цель наша – рай земной любви, заведомо неверна; или же неверна вся христианская жизнь. Мы созданы для Бога. Те, кого мы любим в этой жизни, потому и пробудили в нас любовь, что мы увидели в них отблеск Его красоты, доброты и мудрости. Я говорю не о том, что нам предстоит отвернуться от близких и обратить взор к незнакомцу. Когда мы увидим Бога, мы узнаем Его и поймем, что Он присутствовал во всех проявлениях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам, а нам – лишь в той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится покидать тех, кого мы любим. Мы обретем их всех в Нем и, любя Его, полюбим их больше, чем теперь.

Но все это там, в земле Троицы, а не в нашей юдоли слез. Тут, в изгнании, не проживешь без утрат. Быть может, утраты и даются нам для того, чтобы мы это знали. Нас вынуждают поверить тому, что ощутить мы еще не в силах: единственный наш Возлюбленный – Господь. Утрата близких в определенном смысле легче для неверующего. Он может бунтовать, бросать вызов и даже (если он очень даровит) писать, как Харди или Хаусмен. А мы в страшном горе, когда ни на что сил не хватит, должны совершить невозможное.

"Легко ли любить Господа?"- спрашивает один старинный богослов и отвечает: "Да, легко – тем, кто Его любит". Я описал два вида благодатной любви. Но есть и третий. Бог может разбудить в нас благодатную любовь-оценку к Себе. Дар этот самый лучший. В нем, а не в естественной любви, даже не в нравственности – средоточие жизни. Им живут и ангелы. Когда он есть у нас, нам все возможно.

Здесь и кончится моя книга. Дальше я идти не смею. Богу, а не мне знать, видел ли я хоть отблеск этой любви. Быть может, мне только показалось, что я ее испытываю. Нам, у кого воображение много сильнее послушания, легко представить себе то, чего мы не достигли. Если мы станем это описывать, другие поверят, что мы все знаем по опыту, да и сами мы поверим себе. Но если я представил себе это, неужели мне только показалось, что перед моей фантазией все – даже мир душевный – как сломанная игрушка? Может быть. Вполне возможно, что для многих из нас все, что бы мы ни испытали, лишь очерчивает дыру, в которой должна бы находиться любовь к Богу. Этого мало, но и это кое-что. Если мы не можем ощутить присутствие Божие, ощутим Его отсутствие, убедимся в нашей немощи и уподобимся тому, кто стоит у водопада и ничего не слышит, глядится в зеркало и ничего не видит, трогает стену и ничего не ощущает, словно во сне. Когда ты знаешь, что видишь сон, ты уже не

совсем спишь. Но о пробуждении расскажут те, кто достойней меня.

О любви к себе

Отречение от самого себя считают обычно чуть ли не самой сутью христианской этики. Когда Аристотель учит себя любить[1], мы чувствуем (как ни тщательно он отграничивает должный и недолжный виды филаутии (любви к себе), что эта его мысль – ниже христианства. Сложнее с Франциском Сальским, когда в особой главе святой автор возбраняет нам питать злые чувства даже к себе самим и советует укорять себя «в духе мира и кротости»[2]. Иулиания Норичская проповедует мир и любовь не только к ближним, но и к себе. Наконец, Новый Завет велит нам любить ближнего, как самого себя, что было бы ужасно, если бы мы себя ненавидели. Однако Спаситель говорит, что верный ученик должен «ненавидеть душу свою в мире сем» (Ин. 12:25) и «самую жизнь свою» (Лк. 14:26).

Мы не снимем противоречия, разъяснив, что любовь к себе хороша до известного предела, а дальше – плоха. Суть тут не в степени. Суть в том, что на свете существуют два вида нелюбви к себе, очень похожие на первый взгляд и прямо противоположные по своим плодам. Когда Шелли[3] говорит, что «презрение к себе – источник злобы», а другой, более поздний поэт обличает тех, кто «гнушается и ближним, как собою», оба они имеют в виду нередкое и весьма нехристианское свойство. Такая ненависть к себе делает истинным бесом того, кто при простом эгоизме был бы (или побыл бы) животным. Видя свою нечистоту, мы совсем не обязательно обретаем смирение. Мы можем обрести и «невысокое мнение» обо всех людях, включая себя, которое породит цинизм, жестокость или и то и другое вместе. Даже те христиане, которые слишком низко ставят человека, не свободны от этой опасности. Им неизбежно приходится слишком сильно возвеличивать страдание – и свое, и чужое.

На самом деле любить себя можно двумя способами. Можно видеть в себе создание Божие, а к созданиям этим, какими бы они ни стали, надо быть милостивым. Можно видеть в себе пуп земли и предпочитать свои выгоды чужим. Вот эту, вторую любовь к себе нужно не только возненавидеть, но и убить. Христианин ведет с ней непрерывную борьбу, но он любит и милует все «я» на свете, кроме их греха. Сама борьба со своекорыстием показывает ему, как он должен относиться ко всем людям. Надеюсь, когда мы научимся любить ближнего, как себя (что вряд ли случится в этой жизни), мы научимся любить и себя, как ближнего, – т. е. сменим лицеприятие на милость. Нехристианский же самоненавистник ненавидит все «я», все Божьи создания. Поначалу одно «я» он ценит – свое. Но когда он убеждается в том, что эта драгоценная личность исполнена скверны, гордость его уязвлена и вымещает злобу сперва на нем самом, затем – на всех. Он глубоко себялюбив, но уже иначе, навыворот, и довод у него простой: «Раз я себя не жалею, с какой же стати мне жалеть других?» Так, центурион у Тацита «жесточе, ибо много перенес»[4]. Дурной аскетизм калечит душу, истинный – убивает самость. Лучше любить себя, чем не любить ничего; лучше жалеть себя, чем никого не жалеть.

Примечания

[1] См Никомахова этика кн 9 гл 8.

[2] Швейцарский катол. епископ (1567–1622). Введение в благочестивую жизнь ч. 3 гл. 9.

[3] Английский мистик 14 в.

[4] См Анналы кн 1 ч 20

Перевод: *Наталья Трауберг*

Об этом электронном издании

Эта книга из библиотеки "Горлица", цифровой, полнотекстовой информационной системы по произведениям письменной культуры. БГ представляет собой хранилище (репозиторий) текстов (источников, исследовательской и справочной литературы).

Электронная форма представления информации и современное программное обеспечение предоставляют читателям и исследователям качественно новые, по сравнению с традиционными, средства работы с большими объёмами информации.

БГ – это цифровая библиотека, содержащая оцифрованные произведения, присланные авторами, пользователями и созданные волонтёрами библиотеки. Книги библиотеки доступны бесплатно. В библиотеку включаются издания, находящиеся в народном достоянии, опубликованные со свободной лицензией, а также презентации и предпросмотры лицензионных книг со ссылкой на авторизованных продавцов цифровых и бумажных произведений.

Библиотека "Горлица" приветствует новых участников. При создании этой книги могли быть сделаны ошибки, опечатки. Вы можете сообщить о них на сайте библиотеки:
https://orthodox-commonwealth.ru/room/



"Вот, зима уже прошла;
дождь миновал, перестал;
цветы показались на земле;
время пения настало,
и голос горлицы слышен
в стране нашей"
(Книга Песни Песней Соломона,
глава 2; стих 11-12)